Е. Я. ХАЗИН

ВСЕ ПОЗВОЛЕНО

YMCA-PRESS
Париж

Е. Я. ХАЗИН

ВСЕ ПОЗВОЛЕНО

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО

YMCA-Press
11, rue de la Montagne Ste-Geneviève, Paris 5.

© 1972 by YMCA-Press.

I

« ВСЕ ПОЗВОЛЕНО »

Когда Иван Карамазов кончил « Легенду о Великом Инквизиторе », Алеша, « все слушавший его молча, под конец же, в чрезвычайном волнении... вдруг заговорил, точно сорвался с места ». « Но... это нелепость ! — вскричал он ». И завязавшийся большой разговор показал глубокое расхождение братьев. « — Это чтобы — все позволено » ? — сказал в разговоре Алеша. — « Все позволено, так ли, так ли ? »

« Иван нахмурился и вдруг странно как-то побледнел.

« А, это ты подхватил вчерашнее словцо... », криво усмехнулся он (Иван), « Да, пожалуй : « все позволено », если уж слово произнесено. Не отрекаюсь », ответил Иван. А « слово » это было высказано в келье старца Зосимы, когда он принимал Карамазовых, как мысль Ивана, и подхвачено Митей. « Запомню », заключил он. Но не один он запомнил это « словцо ». Как сказал на суде прокурор, Смердяков на предварительном следствии « с истерическими слезами » рассказал, как Иван ужаснул его « своим духовным безудержем », утверждая, что « все позволено... и ничего впредь не должно быть запрещено ».

С этой мыслью — впервые высказанной в мировой литературе, еще, может быть, туманной, еще далеко не выкристаллизовавшейся, — Достоевский вышел с каторги. Он ее ненавидел. Ее он стремился истребить. В течение могих лет он приписывал ее передовой молодежи как плод безверия. И к ней следует отнести его же слова о замысле « Преступления и наказания », возникшего на каторге, как он сказал, « в минуту грусти и саморазложения ». С этой темы Достоевский начал всю серию своих социально-философских романов, положив ее в основу « теории » Раскольникова, и ее развернул в « Братьях Карамазовых », своем последнем романе.

Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай-с, когда помутилось сердце человеческое, когда цитуется фраза, что кровь « освежает », говорил Порфирий Петрович (« Преступление и наказание »), когда пришел к Раскольникову, чтобы уговорить его явиться с повинной. « Тут книжные мечты-с, тут теоретически раздраженное сердце; тут видна решимость на первый шаг, но решимость особого рода — решился, да как с горы упал или с колокольни слетел, да и на преступление словно не своими ногами пришел ». — Но не умное следствие Порфирия Петровича приводит Раскольникова к суду и каторге. « Дело фантастическое », « дело современное » хорошо понято им, но только с точки зрения правосудия, истинной же, тягчайшей муки Раскольникова он, может быть, и не подозревает. О ней сам Раскольников сказал Соне : « Неужели ты думаешь, что я как дурак пошел, очертя голову ? Я пошел, как умник, и это-то меня и сгубило ! И неужель ты думаешь, что я не знал, например, хоть того, что если уж начал я себя спрашивать и допрашивать : имею ли я право власть иметь, — то, стало быть, не имею права власть иметь. Или что если задаю вопрос : вошь ли человек ? — то, стало быть, уж не вошь человек *для меня,* а вошь для того, кому это и в голову не

заходит и кто прямо без вопросов идет... Мне надо было узнать тогда... вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу... Тварь ли я дрожащая или *право* имею».

«Преступение и наказание» — крах Раскольникова, а не «теории».

Достоевскому и его читателю, твердому в вере, как он сам, христианину, для разрушения «теории» было достаточно одного противопоставления ей Сони и ее евангельской правды, к тому же сильно, убедительно написанной. Но аудитория Достоевского была куда шире. Он это знал и особенно дорожил своим влиянием в студенческой, то есть передовой молодежной среде. Для передовых же слоев, зараженных, как говорил Достоевский, безверием, одного — не поддержанного фабульно — противопоставления было, конечно, мало. В этом была неудача «Преступления и наказания». Действительно, разве христианская правда Сони привела Раскольникова к отказу от «теории»? Разве она удержала Раскольникова от самоубийства и привела его к покаянию, суду, каторге? Фабульно все рассказанное в «эпилоге» «воскрешение к новой жизни» совсем неубедительно. А появление Евангелия, по которому Соня когда-то читала Раскольникову чудо воскрешения Лазаря, оказывается всего лишь художественно сомнительным довеском. Нет, не христианская стойкость, не христианское страдальчество Сони привели Раскольникова к «возрождению», скажут многие, многие читатели, а только ее деятельная — такая земная! — любовь.

Знал это Достоевский? Может быть, знал, но никогда, кажется, нигде об этом не сказал. К теме «все позволено» он, однако, вернулся и на этот раз не ограничился противопоставлением ей христианской правды. В письме от 24/VIII-13/IX 79 г., во время работы над «Братьями Карамазовыми» и об этом именно романе Достоевский писал Победоносцеву: «Ответу на все эти атеистические положения у меня пока

не оказалось, а их надо. То-то и есть и в этом-то теперь моя забота и все мое беспокойство. Ибо ответом на всю эту *отрицательную сторону* я и предположил быть вот этой 6-ой книге, *Русский Инок,...* А потому и трепещу за нее в том смысле : будет ли она *достаточным* ответом. Тем более, что ответ-то ведь не прямой, не на положения прежде выраженные (в Великом Инквизиторе и прежде) по пунктам, а косвенный. Тут представляется нечто прямо... противоположное выше выраженному мировоззрению — но представляется опять-таки не по пунктам, а так сказать в художественной картине ».

« Картина » вышла высоко художественной и, стало быть, убедительной. « Братья Карамазовы » с великой славой увенчали весь творческий труд Достоевского, и в успехе романа не малое значение имело то, что на этот раз Достоевский но ограничился одним противопоставлением христианского мировоззрения, а поддержал его фабульно. К тому же не Соня (как бы хорошо она ни была написана) противопоставлялась на этот раз, а старец Зосима. « Атеистическое положение » — « все позволено » Достоевский фабульно разделил на самую идею и на исходящее от нее действие. Идею он дал Ивану Карамазову, которому старец Зосима сказал : « В вас этот вопрос (« нет добродетели, если нет бессмертия » — мысль Ивана, прямо ведущая к « все позволено ») не решен и в этом ваше великое горе... Но благодарите Творца, что дал вам сердце высшее, способное такою мукой мучиться ». Самое же действие — убийство старика Карамазова — получил Смердяков, воплощение лакейства и лакейского цинизма.

И наказанию Достоевский обрек не только убийство, но и разрешающую его идею. Ивану Карамазову Достоевский дал великую муку и тягчайшую болезнь, Смердякову — смерть в петле.

Так — и мировоззренчески, и фабульно — Досто-

евский истребил на этот раз ненавистное ему « все позволено ».

А « вошь » « Преступления и наказания » совсем не пропала. Она очень запомнилась. Но сам Достоевский даже Алену Ивановну (« Преступление и наказание »), процентщицу, как она ни ничтожна, как ни « заедает чужой век », не позволил называть « вошью ». Мерзок и мелок Федор Павлович Карамазов, но и он не « вошь ». Достоевский дал их убить, но не принизить « вошью ».

Для Достоевского характерно очень высокое понятие о человеке. А пристальное внимание к человеку, при необычайной способности проникать во внутреннюю — психологическую — жизнь человека и понимать самые сокровенные душевные движения, привели его к созданию многолюдной и поразительно многосоставной галереи, в которой каждый человек и все их взаимосвязи строго привязаны к конкретности времени и места. Достовским было открыто чрезвычайно много. И, всегда оставясь человеком, он был свободен от дурной тенденциозности работы положительным — отрицательным, хотя сам, покорный своему времени, сохранял его фразеологию. А Грушеньке — и задолго до вполне раскрывшего ее финала — он дал « хорошую басню » о « луковке ».

Достоевскому было открыто и самое низкое и самое высокое. Он знал Богочеловека. Этим знанием он вдохновлялся, создавая князя Мышкина. И он же показал человекобога — Кириллова (« Бесы »). Зовут его Алексей Нилыч, он — инженер и адрес его также обыкновенен : Богоявленский переулок, дом Филиппова. А вот говорит он странно и то, что он говорит, никогда не было слышно.

Мир плох. Человек несчастен. « Ложь и дьяволов водевиль ». Все, все перестроить! Так, чтобы человек изменился даже физически.

К тому времени, когда Кириллов появился в романе, его « съела идея » Бога. « Бог необходим, а потому

должен быть », говорит он. « Вся воля Его, и из Его воли я не могу ». Но « я знаю, что Его нет и не может быть ». Значит « вся воля моя и я обязан заявить своеволие ». А что может быть выше, как своеволие, чем отказаться от жизни и убить себя, преодолев страх и боль ?

« Кто смеет убить себя, тот бог ».

Своеволие ! Кириллов, по его словам, три года искал этот « атрибут » божества своего. И он убивает себя, « чтобы в главном пункте показать непокорность и новую страшную свободу » свою.

Но есть и другой — « самый низкий пункт » своеволия — « убить другого ». « И в этом весь ты », — бросает Кириллов Петру Верховенскому, еще не зная об убийстве Шатова. И все же, как ни презирает он Петра Верховенского, предсмертную записку он пишет под его диктовку и в ней объявляет себя убийцей Шатова. В последний его час жизнь жестоко посмеялась над « человекобогом ».

А жизнь он любил. Он был даже счастлив и знал, что счастье пришло к нему « на прошлой неделе », в ночь с вторника на среду, « в тридцать семь минут третьего ». Это тогда ему открылось, что « все хорошо ».

Но он « обязан » умереть и он умирает, потому что — если не он, « заявивший своеволие » — кто же « начнет, и кончит, и дверь отворит. И спасет » всех людей. Именно всех людей : как у многих персонажей Достоевского, мысль Кириллова универсальна.

При внешней близости с « все позволено » Ивана Карамазова в « своеволии » Кириллова нет ничего от « атеистического положения » первого. По мысли Достоевского в « Бесах », « все позволено » принадлежит только Петру Верховенскому, этому « мелкому бесу » революции, и от него распространяется на весь роман. К нему, в конечном счете, сходятся все нити « дела фантастического, мрачного, дела современного » общего помрачения умов, пожара, убийства Лебядкиных,

капитана и Марьи Тимофеевны, Лизы Дроздовой, Федьки-каторжника и, наконец, Шатова.

Ставрогин точно сказал Петру Верховенскому, для чего тому кровь Шатова : « вы этой мазью ваши кучки слепить хотите ». Шатова он не спас, хотя твердо сказал тогда, что Шатова он « не уступит ». Мертвое тело с привязанными к нему камнями покоилось на дне скворешниковского пруда, а Петр Верховенский, уезжая на другой день после убийства, сказал провожавшему его Эркелю : « теперь все связаны вчерашним ».

В вышедшем в 1883 г. 1-м томе собрания сочинений Достоевского раздел « заметки из записных книжек » открывается такой записью : « Только то крепко, подо что кровь протечет ». Только забыли, негодяи, что крепко-то оказывается не у того, который кровь прольет, а тех, чью кровь прольют. Вот он — закон крови на земле ».

II

ОДЕРЖИМЫЕ

С легкой руки Белинского « Двойник » трактовался, как развитие той линии, которая выявилась в « Бедных людях » : « маленький человек » в глубоко гуманистическом освещении (« Обзор русской литературы за 40 год »). Белинский отметил « патетический и глубоко трагический колорит » « Двойника », в Голядкине он увидел человека « помешанного на амбиции, как это часто бывает в жизни », но это так мало заинтересовало его, что он остался на ложном пути. Замысл Достоевского был легко вытеснен ставшей привычной моделью. Голядкин остался в одном ряду с Макаром Девушкиным и стариком Покровским, и о нем было сказано, что он « несколько сродни » Акакию Акакиевичу Башмачкину и, как сумасшедший, Поприщину. « Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям раззолоченных палат. Ведь это тоже люди, ваши братья », — написал Белинский и, конечно, помянул при этом столь прославленных гоголевских « братьев ». В публике, тут же отметил Белинский, « Двойник » не имел никакого успеха.

« Двойник » провалился, прежде всего, в кругу Белинского. Еще в середине ноября 45 года, когда « Двойник » был еще в работе, Достоевский писал о нем брату, Михаилу Михайловичу : « Голядкин выходит превосходно; это будет мой chef-d'œuvre ». Через несколько месяцев, однако, восторг сменился тем, что Достоевский « заболел с горя ». Об этом он сам писал брату I/IV 46 г. : « Все, все с общего говору... т. е. *наши* и вся публика нашли, что Голядкин скучен и вял, до того растянут, что читать нет возможности... Идея о том, что я обманул ожидания и испортил вещь, которая могла бы быть великим делом, убивала меня. Мне Голядкин опротивел. Многое в нем писано наскоро и в утомлении... Рядом с блистательными страницами, есть скверность, дрянь, из души воротит, читать не хочется ». Но и тут, сообщая о провале, Достоевский начал с того, что « первое впечатление было безотчетный восторг, говор, шум, толки ». Это было, судя по позднейшему рассказу самого Достоевского в « Дневнике писателя » (77 г., XI, гл. I), на чтении, состоявшемся у Белинского в начале декабря 45 года. Достоевский прочел тогда 3-4 главы « Двойника ». Понравились они чрезвычайно. Когда же « Двойник » явился полностью (« Отечественные записки » 46 год, II, вышли I/II 46 г.), мнение Белинского и тех, кто был на чтении в декабре 45 г., круто, — но вряд ли справедливо, — изменилось. Тогда-то Достоевский « заболел с горя ».

« Двойник » стал неудачей Достоевского, тем более горькой потому, что Достоевский придавал этой « петербургской поэме » особое значение. Через 32 года он писал о « Двойнике » в « Дневнике писателя » : « ...повесть эта мне положительно не удалась, но идея была довольно светлая, и серьезней этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил. Но форма этой повести мне не удалась совершенно ». Достоевский — человек крайностей. От первоначального восторга, когда повесть была еще в работе, он перебросился к ее осуждению, а позже, признавая в печати ее неудачу, так

превозносил в письмах ее замысел, словно забыл свои же социально-философские романы.

Но и тогда, когда на него обрушилась критика, Достоевский не мог не отмечать похвал. В том же письме от I/IV 46 г., сообщая о провале «Двойника», Достоевский писал: «Но что всего комичнее так это — то, что все сердятся на меня за растянутость и все до одного читают напропалую и перечитывают напропалую. А один из наших только тем и занимается, что каждый день прочитывает по главе, чтобы не утомить себя и только чмокает от удовольствия». Еще решительнее Достоевский сказал о «Двойнике» в письме I-II 47 г.: «Иные прямо говорят, что это произведение *чудо* и не понято. Что ему страшная роль в будущем, что если б... я написал одного Голядкина, то довольно с меня». И тут же добавил: «Как приятно быть понятым». А это значит, что признание повести неудачей было со стороны Достоевского вынужденным: он чувствовал себя слишком неустойчиво, чтобы противостоять авторитету Белинского. «Переболев» провал «Двойника», Достоевский в дальнейшем никогда от него не отказывался и сам включал его в собрания сочинений. Из Твери, по возвращении из Сибири, в связи с предположенным изданием всего написанного в трех томах, Достоевский писал Михаилу Михайловичу 1/X 59 г.: «К половине декабря я пришлю тебе... исправленного Двойника. Поверь, брат, что исправленное, снабженное предисловием, будет стоить *нового романа*. Они увидят наконец что такое Двойник. Я надеюсь даже слишком заинтересовать. Одним словом, я вызываю всех на бой. (...Зачем мне терять превосходную идею, величайший тип, по своей социальной важности, который я первый открыл и которого я был провозвестником?)» Желание Достоевского переработать повесть не осуществилось. К работе над ней, да и то почти ограниченной сокращением текста, он добрался только к изданию 66 г.

«Двойник» — вторая работа Достоевского. Напи-

сана она (в основном) во второй половине того же 45 г., когда Достоевский сразу стал прославленным автором « Бедных людей ». И вышли обе работы в свет с разрывом всего в 15 дней : « Бедные люди » 15 января 46 г. в « Петербургском сборнике » Некрасова, « Двойни » 1 февраля 46 г. в « Отечественных записках » за 46 г. (книга II). А эта — вторая работа вклинивается в ранее творчество Достоевского чужеродным телом. К такой теме и к такому письму Достоевский не возвращался. Но в зрелом творчестве Достоевского « Двойник » отозвался очень плодотворно.

В связи с выходом « Бедных людей » Достоевский писал брату : читатели « не понимают, как можно писать таким слогом. Во всем они привыкли видеть рожу сочинителя, я же моей не показывал. А им и не вдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе говорить не может ». В словах о « роже » легко увидеть твердую принципиальную позицию молодого Достоевского. Однако, в следующей же работе — в « Двойнике » — Достоевский, если не показал, то приоткрыл свою « рожу ». Голядкин — не Достоевский, конечно. Но в повести много личного — настолько существенно личного, что Достоевский не раз выделял эту повесть, в 46 году « заболел » от признания ее неудачей, а в 77 г., не удовлетворяясь проделанной уже работой, говорил о коренной ее переработке. В письме же 1/II 47 г., работая над « Неточкой Незвановой », Достоевский прямо сказал : « Это будет исповедь, как *Голядкин*, но в другом тоне и роде ».

« Исповедь » — это, конечно, самообличение и вряд ли справедливое. Но Голядкина, нужно все же признать, молодой Достоевский знал очень хорошо. Настолько хорошо, что, может быть, ему самому, автору, в пору « кутежа » после такого успеха « Бедных людей », приснилась та голубая карета, которой так выразительно начинаются злоключения Голядкина.

Так кто же он, Голядкин ? Прежде всего нужно сказать, что в нем нет ничего общего с героем « Бедных

людей », кроме принадлежности к одной социальной категории « маленьких людей ». Насколько они разные люди можно видеть уже по отмеченному В. В. Виноградовым употреблению каждым из них слова « ветошка ». В первом письме Вареньке Девушкин пишет, что его квартирная хозяйка « просто безжалостная » и Терезу, прислугу, « затирает... в работу, словно ветошку какую-нибудь ». « Бедный человек хуже ветошки », — обобщает в другом письме Девушкин. И о себе он смиренно скажет : « Я чуть ли не хуже ветошки, о которую ноги вытирают ». Совсем по-иному, диаметрально противоположно, звучит это слово у Голядкина. « Как ветошку себя затирать не дам », — говорит он. А в другой раз еще энергичней : « Я не ветошка : я, сударь мой, не ветошка »...

Смирения, как у Девушкина, у Голядкина начисто нет. Все действия и вся речь этого « помешанного на амбиции », как отметил Белинский, « маленького человека » направлены к тому, чтобы прорваться в иное — воображаемое — состояние, но в том же самом, остающемся неизменным, мире. Тот же департамент с « его превосходительством » во главе, тот же всеобщий, надо всем царящий закон выслужиться, тот же Гостиный двор, тот же Олсуфий Иванович и его гости, та же Клара Олсуфьевна — должно быть, красавица, но выделяющая его одного, Голядкина. К нему приковано общее внимание, как в воображаемом финале, когда « все, все... теснилось около господина Голядкина... стремилось к господину Голядкину ».

Тема самоутверждения в воображаемом — основная внутренняя тема « Двойника » — влита в разоблачение двойника, которое движет повествование.

Голядкин очень активен. Активность, впрочем, слишком слабо для Голядкина. Он — одержимый.

Первый в творчестве Достоевского одержимый.

Возникновение и развитие одержимости остается за пределами повести. А начинается она с того, что Голядкин, так сказать, примеряет свое новое — вооб

ражаемое — состояние. Для этого служат и голубая карета с Петрушкой в ливрее на запятках, и прошедшее в « страшных хлопотах » утро с посещением почтенного доктора — немца, магазинов Гостиного двора, дорогого ресторана и прибытие в этой голубой карете к дому, где живет Олсуфий Иванович, статский советник и благодетель.

Воображаемое тесно, тесно переплетается с действительностью.

Был день рождения Клары Олсуфьевны со званым обедом и семейным балом. А Голядкина Олсуфий Иванович не принял. Лакеи не впустили Голядкина.

Голядкин был поражен. Он растерялся. И вдруг решился : не впустили, так он прорвется ! Он будет « на бале » ! Бунт, бунт !... Но — то безудержный, то с оглядкой — голядкинский бунт.

И вот он тоже « на бале », то есть, почти « на бале », то есть, в сенях на черной лестнице квартиры Олсуфия Ивановича. Робея и проклиная свою робость, Голядкин проскальзывает в буфетную, потом дальше, а там и в зал и, как и все гости, склоняется с подравлением перед Кларой Олсуфьевной. Он даже пошел танцевать с Кларой Олсуфьевной — « как-то пришаркнул, потом как-то притопнул, потом... » Тут Голядкин споткнулся, Клара Олсуфьевна вскрикнула, толпа гостей оттеснила Голядкина, было смятенье, крики, визги, чья-то рука легла на спину Голядкина, его куда-то направляют, на него надевают шинель, потом он на лестнице, во дворе... Все кончено. Бунт подавлен.

Голядкин « был убит — убит вполне ».

Полночь. « Ноябрьская, мокрая, туманная, дождливая, снежливая, чреватая флюсами, насморками, жабами и горячками всех возможных родов и сортов ». И вот, после недолгого, легко подавленного бунта, в этом ноябрьском тумане возник двойник : Яков Петрович Голядкин-младший.

II/IV 80 г. в ответ на письмо Е. Ф. Юнге, в котором она говорила и о мучительной ей психической раздво-

енности, Достоевский писал: «Это самая обыкновенная черта у людей... не совсем, впрочем, обыкновенных. Черта, свойственная человеческой природе вообще, но далеко-далеко не во всякой природе человеческой встречающаяся в такой силе, как у Вас. Вот и поэтому Вы мне родная, потому, что это *раздвоение* в Вас точь в точь как и во мне, и всю жизнь во мне было. Это большая мука, но в то же время и большое наслаждение». С той поры, когда Достоевский работал над «Двойником», прошло 35 лет. В письме ясно видно желание Достоевского облегчить мучительную его корреспондентке психическую особенность. Достоверным комментарием к «Двойнику» это письмо может служить только как свидетельство самого Достоевского о сопутствовавшей ему в течение всей жизни раздвоенности. Но повесть 45-46 года остается у Достоевского единственной открытой литературной разработкой этой темы. Достоевский к ней не возвращался, может быть, потому, что он навсегда и болезненно запомнил провал (у современной ей критики), этой повести. А двойники не исчезли из его творчества. Они появлялись, но скрытно.

Что, казалось бы, общего между Раскольниковым и Свидригайловым? Так спрашивал себя и сам Раскольников и все же, несмотря на решительное отталкиванье, должен был признать, что к Свидригайлову его что-то притягивает, что в нем даже «таилась какая-то власть над ним». Власть настолько сильная, что в конце романа, в полицейской конторе, услышав, что Свидригайлов застрелился, Раскольников почувствовал, что «на него как бы что-то упало и его придавило». Он вышел, увидел во дворе Соню, вернулся и «тихо, с расстановкой, но внятно проговорил» свое признание.

Достоевский связал Раскольникова и Свидригайлова не только фабульно — по отношению к Авдотье Романовне и тем, что дал Свидригайлову подслушать тайну Раскольникова, а последнему узнать о преступ-

лениях первого. « Мы одного поля ягоды », — сказал Свидригайлов Раскольникову при первой их встрече. В этом его сюжетная функция : снижение идеи — « теории » Раскольникова.

Рассказывая о жизни Раскольникова до убийства старухи процентщицы, Достоевский написал : « Так бывает у иных мономанов, слишком на чем-нибудь сосредоточившихся ». Таким же « слишком... сосредоточившимся » « мономаном » нужно признать и Свидригайлова. Оба они — одержимые. У одного из них, правда, — идея, « теория », а у другого — страсть. Но одержимость их такого рода, что должна заставить и действительно заставляет каждого из них « перейти через меру ».

Они — двойники.

Двойники в одержимости, при полнейшем во всем остальном расхождении.

Сближает их и то, что возникновение и развитие одержимости происходит у каждого из них « в углу ». Раскольников сам отмечает, что стал сам с собой говорить, « лежа целыми сутками в углу » — в своей каморке. А Свидригайлов как будто вторит ему, когда говорит (в трактире) : « Вы думаете, веселый (я человек) ? Нет, мрачный... сижу в углу ». Мрачен угол Раскольникова, в котором созрела его «теория ». И еще, может, мрачнее тот угол, откуда доносится барственно циничный голос Свидригайлова : « Понимаю, какие у вас вопросы в ходу : нравственные, что ли ? вопросы гражданина и человека ? А вы их побоку ». Беспросветен этот свидригайловский « угол », как последняя его ночь в мерзейшей гостинице, а после нее самоубийство перед « Ахиллесом » в пожарной каске. И не только мрак — последний ужас в той картине вечности, какая сложилась в свидригайловском « углу ».

Страшен Свидригайлов, одержимый, но замаскированный обыденностью, и светел Раскольников, одержимый идеей — « теорией » — и пролитой кровью.

Так в творчестве Достоевского вернулась тема

одержимости, а началась она в « Двойнике », — первом произведении Достоевского, осознавшим себя профессиональным писателем. « Бедные люди » же по отношению к « Двойнику » должны быть поняты как предистория творческого пути Достоевского.

Многое, конечно, изменилось в работе Достоевского за истекшие от « Двойника » до « Преступления и наказания » двадцать — и какие двадцать! — лет. Изменились, прежде всего, сами одержимые. Голядкин юношески (не по возрасту) необуздан и обуреваем воображением, рядом с ним Раскольников зрел, заражен насущными идеями времени и сообщает повествованию величайшую напряженность.

Вслед за « Преступлением и наказанием » последовали остальные социально-философские романы, и в каждом из них одержимость являлась в новом обличии. И очень характерно для Достоевского : все одержимые его социально-философских романов — бунтовщики. После Раскольникова, такова последовавшая за ним Настасья Филипповна (« Идиот »). Ее бунт безудержно решителен и слеп; плодотворный для будущего, он трагически обречен в настоящем. Достоевский дал Настасье Филипповне только один акт бунта, но такой силы, что он определяет психическую атмосферу всего повествования.

Шатова и Кириллова (« Бесы »), когда-то участников революционной организации, а теперь разошедшихся, Достоевский поселил в одном доме. Это — дом одержимых. Одержимых бунтом. И социально-философскую природу их бунтов Достоевский выразительно подчеркнул, рассказав, что жила в этом доме и Марья Тимофеевна Лебядкина, но ко времени событий романа капитан Лебядкин с сестрой переехали в Заречье.

А Версилов (« Подросток ») — разве не одержим бунтом и этот русский барин, столько лет кочевавший по европейским бунтам и только и сумевший, что приткнуться, в конце концов, к созданному его барской

прихотью (или барским любвеобилием) « случайному семейству » ?

Одну из глав « Братьев Карамазовых » Достоевский назвал « Бунт ». Это там Иван Карамазов излагает в беседе с Алешей свой огромный социально-философский бунт неприятия мира.

И — удивительное дело ! — тема бунта, одержимости бунтом, социально-философской « широкости » русского бунта овладела Достоевским в последнем периоде его творческого пути. В раннем творчестве Достоевского бунтовал один Голядкин *), да и был это всего лишь малый бунт « ветошки », поднявший, однако, большую тему самоутверждения в воображаемом. Социально-философской направленности зрелых лет этот бунт был совершенно лишен. Но одно то, что в первом своем произведении профессионального литератора Достоевский обратился к теме бунта, показывает, насколько она важна для понимания Достоевского — и не только молодых лет, а всего его творческого пути.

Не бунтовала в раннем творчестве Достоевского даже Неточка Незванова, от которой — и по ее психическому складу, и по фактам горестного детства — можно было бы ожидать хоть подобия бунта. А годы создания и Голядкина, и Неточки Незвановой — двух повестей, о которых Достоевский сказал «-исповедь », — были в жизни Достоевского временем, если не одержимости, то во всяком случае насыщенности бунтом, что привело его к эшафоту и каторге. Да и после каторги — и в сибирском томлении, и по возвращении

---

*) Бунтовщическая природа Голядкина с полной очевидностью подтверждается записью 60-х годов (« Записные книжки ») с одним из замыслов переработки « Двойника ». По этой записи Голядкину предстояло стать участником кружка Петрашевского, и сказано об этом явно иронично. Есть в этой записи и Голядкин-младший, Голядкин-удачливый, двойник, к которому, нужно полагать, относятся последние слова записи : « Он донесет ».

из Сибири, вплоть до « Записок из подполья », — в творчестве Достоевского не видно ни социально-философского, ни политического, прямо направленного против существующего политического строя, бунта. Нет его, конечно, и в Фоме Опискине *) (« Село Степанчиково »), хотя по милости (вернее, по дури) окружающих, он оказался в положении нисповергателя устоев и в таком качестве, благодаря так называемой « передовой критике » и XIX и XX вв., дожил до наших дней.

Прямое прочтение литературных произведений по фактам биографий их авторов вряд ли плодотворно. Тут могут быть самые различные соотношения и взаимодействия. Но такой нерешительный, как будто, разрыв творческих и жизненных тяготений, как в существующей в настоящее время биографии Достоевского, конечно, удивляет. И требует разъяснения. Неужели творческий труд Достоевского был отделен непроницаемой стеной от непосредственно жизненного? Неужели творчество Достоевского было настолько замкнуто в себе, что развивалось только своими, совсем независимыми от фактов жизни путями ? Как известно, мировоззренческий перелом привел Достоевского к редактированью « Гражданина », к близости с Победоносцевым, к разрыву с идеологией радикальных кругов русского общества. И в эти именно годы Достоевский

---

*) Направленность « Села Степанчикова » против « Избранных мест из переписки с друзьями » Гоголя вполне убедительно показана Тыняновым, но в этом нет никакого открытия : почти за сто лет до Тынянова о том же сказал Краевский Мих. Мих. Достоевскому, прочтя повесть в рукописи. Замысел Достоевского, нужно полагать, был куда шире и направлен против учительной природы русской литературы вообще, а не только против Гоголя « в грустную пору его жизни », но и против Белинского, который так прославлен за эту именно особенность русской литературы, и к которому, после каторги и вплоть до последних лет жизни, Достоевский относился крайне враждебно. История, в таком случае, оказалась злой насмешницей, прославив и в Достоевском одного из величайших учителей жизни.

стал создателем Раскольникова и всех последующих бунтовщиков своих социально-философских романов. Ранее же творчество Достоевского, бунтовщика по казенной логике и николаевского, и нашего времени, не создало ни одного политического или социально-философского бунтовщика. На русском литературоведении лежит прямая обязанность дать убедительный ответ, способный рассеять недоумения. Иначе выйдет, что бунт Достоевского против радикальных кругов русского общества был не только сильнее, но — и это особенно важно — творчески плодотворней революционности молодых лет.

III

ХРУСТАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ

В 1851 году в Лондоне на всемирной выставке всеобщее внимание привлекал Хрустальный дворец — огромное выставочное здание сплошь из стекла и металла, прозрачным колпаком покрывавшее часть территории вместе с росшими там высокими деревьями. Это было чудо строительной техники и материализованная декларация наступления новейшей эпохи урбанизма, индустриализма и современной — рациональной — архитектуры, изгоняющей украшательство и находящей пластичность в формах самой конструкции.

Хрустальный дворец был сохранен и после выставки. Достоевский увидел его в 62 г. также на всемирной выставке во время своего первого заграничного путешествия. В «Записках из подполья», напечатанных в 64 г., и в «Преступлении и наказании», — в 66 г. Хрустальный дворец стал устойчивым образом утилитаризма и безграничной веры в науку, верней в наукообразность, утвердившихся в культуре того времени, как ее последнее и окончательное слово. Достоевский его решительно отвергал. Он видел в нем рассудочное ограничение природы человека, которую

действительно знал многообразно и глубоко. И однажды он загнал воображенного им человека в « подполье », чтобы показать до какого злобного визга можно дойти в блистательном, да еще наперед математически точно вычисленном, благоразумии Хрустального дворца. « Пусть жизнь наша... выходит зачастую дрянцо », говорил человек из подполья, « но все-таки жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня ». Умный, достаточно образованный, каким показал его Достоевский, он не отрицал ни математики, ни рассудка. Но « рассудок знает только то, что успел узнать... а натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно, и хоть врет да живет ». И, живя, человек « из подполья » даже от каприза своего не хотел отказаться, только бы то был его личный каприз. В споре со своим временем он не раз полемически едко обнажал его глубинные тенденции. « Тогда, — говорили ему, прельщая светлым будущим, — сама наука научит человека... что все, что он ни делает, делается вовсе не по его хотению, а само собою, по законам природы. Следственно, эти законы природы стоит только открыть, и уж за поступки свои человек отвечать не будет и жить ему будет чрезвычайно легко. Все поступки человеческие, само собою, будут расчислены тогда по этим законам, математически, вроде таблицы логарифмов, до 108.000 и занесены в календарь... и на свете уже не будет ни поступков, ни приключений ».

« Тогда-то... настанут новые экономические отношения, совсем уже готовые и тоже вычисленные с математической точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда... » Вот тут человек прервал « из подполья » говорившего и продолжал в том же тоне: « Конечно, никак нельзя гарантировать... что тогда не будет, например, ужасно скучно ». А « от скуки чего не выдумаешь?... Ведь я, например, ни-

сколько не удивлюсь, если вдруг ни того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентельмен, с неблагородной или, лучше сказать, ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем : а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного раза, ногой, прахом, единственно с той целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить ! »

А тут и от страдания человек, межет быть, не откажется. « В хрустальном дворце оно и немыслимо : страдание есть сомнение, есть отрицание, а что за хрустальный дворец, в котором можно усомниться ? А между тем я уверен, что человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется. Страдание — да ведь это единственная причина сознания ! »

Если пафос хрустального дворца был в том, что в нем все для человека (т. е. для того человека, для которого это денежно возможно), для его разумной « выгоды », то человек « из подполья » утверждал, что « выгоднее всех выгод », как бы ни были те разумны, это то, что « сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность ».

Но не с « Записками из подполья », а с предшествовавшими им « Зимними заметками о летних впечатлениях » в творчество Достоевского впервые вошла и прочно утвердилась идея личности, в ее социально-философском аспекте. « Летние впечатления » были о Западе, о Париже, Лондоне, его выставке, о хрустальном дворце — итог « впечатлений » под определенным углом зрения. « Все это так торжественно, победно и гордо », — писал Достоевский о выставке, « что вам начинает дух теснить. Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, покорно текущих сюда со всего земного шара, — людей, пришедших с одною мыслью, тихо, упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце, и вы чувствуете, что тут что-то

окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из апокалипсиса, воочию совершающиеся».

Как известно, в «Зимних заметках о летних впечатлениях» сильно отразилось влияние Герцена и его резкая критика собственнического Запада. Это, конечно, вполне справедливо. Но влияние Герцена сказалось не только в картинах огромного, грохочущего Лондона, его выставки, с хрустальным дворцом, с одной стороны, и лондонской трудовой бедноты, с другой, его ночного распутства. Герцен, особенно с середины 50-х годов, много писал об измельчании человека на Западе, о «стертости» личности, о «стадных типах» — о «сборной посредственности» собственнического-мещанского общества. «Душа убивает», крикнул тогда на весь мир Герцен. Разве не о том же писал Достоевский, когда рассказал о «сотнях тысяч, о миллионах людей, покорно текущих (на выставку) со всего земного шара, когда обнаружил в жизни Лондона, его выставке с хрустальным дворцом мировой катастрофический процесс — «какую-то библейскую картину, что-то о Вавилоне?» Разве не о катастрофическом наступлении новых времен говорил Достоевский, когда так закончил главу о Лондоне: «Ваал царит и даже не требует покорности, потому что в ней убежден».

Также-с позиции Герцена — Достоевский подошел к Парижу. Но на этот раз он увидел не грандиозное, мировое, а обратился к психологии мелкого, трусливого, лицемерного и упорного собственника, презрительно насмеялся над ним, но в основу своих «летних впечатлений» о Париже взял социально-философскую тему личности. К 62 году, когда Достоевский впервые увидел Запад, давний сохранившийся от республик девиз Франции: свобода, равенство, братство — давно захирел. Достоевский остановился на третьем члене этого девиза — братство — и нашел для него свои сло-

ва. « Западный человек толкует о братстве », писал он, « как о великой движущей человечество силе, и не догадывается, что негде взять братства, коли его нет в действительности... В природе французской, да и вообще западной, его в наличности не оказалось, а оказалось начало личное, начало особняка, усиленного самосохранения, самопромышления, самоопределения в своем собственном Я ». Сделать же братство никак нельзя, « надо чтоб оно *само собой сделалось, чтоб оно было в натуре*, бессознательно, в природе всего племении заключалось, одним словом : чтоб было братское, любящее начало, — надо любить ». Из этой мысли вышло в дальнейшем антизападничество Достоевского и противопоставление Западу России. Прав был Достоевский или нет, но эта мысль направила всю его публицистику и в значительной мере отразилась в социально-философских романах. В « Зимних заметках... » Достоевский только сказал о любви и сам себя прервал : « Эка ведь в самом деле утопия, господа ! Все основано на чувстве, на натуре, а не на разуме. Ведь это даже как будто унижение для разума ». И тут же Достоевский заговорил о социализме. « Социалист », писал он, « видя, что нет братства, начинает уговаривать на братство... Конечно, есть великая приманка жить хоть не на братском, а чисто на разумном основании. ...Но тут опять выходит загадка : кажется уже совершенно гарантируют человека, обещаются кормить, поить его, работу ему доставить, и за это требуют с него только самую капельку его личной свободы для общего блага, самую, самую капельку. Нет, не хочет человек жить на этих расчетах, ему и капелька тяжела. Ему все кажется сдуру, что это острог, что самому по себе лучше, потому — полная воля. И ведь на воле бьют его, работы ему не дают, умирает он с голоду и воли у него нет никакой, так нет же, все-таки кажется чудаку, что своя воля лучше ». Да это как будто человек « из подполья » уже говорит. К тому же вслед за прокламированием полной своей

воли Достоевский заставил своего незадачливого социалиста восхититься муравейником, как разумнейшей организацией, а этот муравейник, как и некоторые другие темы (например, насмешливое « l'homme de la nature et de la vérité »), перешел в « Записки из подполья ».

Достоевский работал циклами. Только в созданном после каторги и солдатчины (« Село Стопанчиково », « Дядюшкин сон », « Униженные и оскорбленные », « Записки из Мертвого Дома ») не найти объединяющей идеи. А среди работ последующих лет отчетливо выделяются, несмотря на разность жанров, « Зимние заметки о летних впечатлениях », « Записки из подполья », « Преступление и наказание », несущие социально-философскую тему личности, которая и в дальнейшем служит началом притяжения и оценки всего сущего. Это были, по-видимому, годы наиболее напряженной внутренней работы, в значительной мере определившей дальнейший творческий путь.

« Записки из подполья » — первое в творчестве Достоевского философское повествование. Но с раздельной еще структурой, собравшей в 1-й части (« Подполье ») философию и отдавшую II-ую часть (« По поводу мокрого снега ») повествованию. В « Записках из подполья » Достоевский вернулся к своей давней, сохранившейся с далеких лет « ветошке » — но как она изменилась за истекшее время! Теперь она образована, теперь она осознала себя личностью — непривлекательной, правда, по собственному — вполне справедливому — признанию. О давнем — неудавшемся, конечно, — бунте « ветошка » и не помышляет. В страхе перед хрустальным дворцом она забилась в « подполье » и злобным визгом защищает свою свободную волю, даже свой каприз.

Человек « из подполья » — последний в творчестве Достоевского « маленький человек », как центральная тема повествования. В « Преступлении и наказаниии » на первый план явится « сильная личность ». Отвра-

щение к наступающей эпохе « стертой » личности, « стадных типов » — « сборной посредственности » мещанского общества вызвало то, что Достоевский перебросился к гипертрофированной идее личности.

« Сильная личность » появилась в творчестве Достоевского не в первый раз. На пути к Раскольникову нужно вспомнить Орлова (« Записки из Мертвого Дома »), так резко выделяющегося среди каторжных, между которыми были и совершенные « нравственные Квазимодо ». Орлов, как нарисовал его Достоевский, представлял « наяву полную победу над плотью ». Высокомерный, всеми уважаемый, « он мог повелевать над собой безгранично, презирая всякие муки и наказания, и не боялся ничего на свете ».

Как « сильная личность » вспоминается и князь из « Униженных и оскорбленных », который вполне сошел бы за мелодраматического злодея, — настолько свободно, отстаивая свои интересы, он распоряжается судьбами всех персонажей, — если бы не его философия, умно и цинично им развитая в застольной беседе.

Нужно вспомнить тут и то, что работа Достоевского над Раскольниковым, его личностью и его « теорией », судя по дошедшему до нас, была настолько сложна, что требует выделения творческой истории « Преступления и наказания » как особой темы. Но об этом впоследствии, а сейчас о Хрустальном дворце.

В « Преступлении и наказании » Хрустальный дворец сохранил черты внешнего благообразия, рационального устройства и, сверх того, оказался приписанным к полицейской конторе. Дело в том, что Достоевский поселил Раскольникова на самой « пьяной » улице Петербурга — в Столярном пер., в 16 домах которого, по сообщению газеты тех лет, было 18 питейных заведений. На соседней улице насчитывалось 6 трактиров, 19 кабаков 11 пивных, 16 винных погребов, 5 (грязных, подозрительных, конечно) гостиниц. « Нестерпимая... вонь из распивочных... и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершали

отвратительный и грустный колорит картины », сказал Достоевский в начале романа об улицах, где жил Раскольников. И здесь именно, среди смрадных питейных заведений, Достоевский поместил трактир под вывеской « Хрустальный дворец » и ввел туда Раскольникова при первом его выходе на улицу, после свалившей его, вслед за убийством, болезни. Удивительный трактир! На пути к этому « Хрустальному дворцу » Раскольников прошел мимо нескольких грязнейших заведений, раньше Достоевский посадил Раскольникова в одном из них с Мармеладовым, а в другом, в конце романа, — с Свидригайловым. Как не похож был « Хрустальный дворец » на то, что можно было увидеть на этих улицах. Раскольников, рассказал Достоевский, вошел в « весьма просторное и даже опрятное трактирное заведение о нескольких комнатах, впрочем довольно пустых. Два три посетителя пили чай, да в одной дальней комнате сидела группа, человека в четыре, и пили шампанское ». Среди них был Заметов — « с перстнями, с цепочками, с пробором в черных вьющихся и напомаженных волосах, в щегольском жилете, несколько потертом сюртуке и несвежем белье » — тот самый Заметов, письмоводитель полицейской конторы, куда Раскольников был вызван на утро после убийства по совсем постороннему делу. Заметов очень запомнился Раскольникову, его он видел в бреду, не раз потом и наяву и с раздражением, а то и с ненавистью воспринимал его как одно из олицетворений полиции и уголовного следствия, возглавляемого Порфирием Петровичем.

Человек « из подполья » боялся и ненавидел хрустальный дворец еще и потому, что он « хрустальный и навеки нерушимый и что нельзя будет даже и украдкой язык ему выставить ». А Раскольников — и не украдкой, а открыто, дерзко-таки « выставил язык » — и не крохотному Заметову, а всему Хрустальному дворцу разумного и незыблемого правопорядка.

Долго он дразнил полицейское любопытство Заме-

това и наконец : « А что, если это я старуху и Лизавету убил ? — проговорил он (Раскольников).

« ... Заметов дико посмотрел на него и побледнел, как скатерть ».

Раскольников вскоре ушел из трактира. Он очень ослабел. Он много ходил, даже в полицейскую контору потянуло его, но не туда пошел он. « Вдруг как будто кто шепнул ему что-то на ухо. Он поднял голову и увидел, что стоит у *того* дома, у самых ворот. С *того* вечера он здесь не был и мимо не проходил.

Неотразимое и необъяснимое желание повлекло его ».

IV

ФАНТАСТИЧНОСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Русская история отмечена крайностями. Для нее характерны удивительная устойчивость (и поэтому длительность существования), принцип единодержавия, освященного, незыблемого, и в то же время широчайшие, стихийные народные бунты.

Та же крайность, да еще осложненная разрывом между политической и культурной жизнью страны, появилась в XIX веке. Именно с русских людей, когда Россия была оплотом самодержавия, пошла и распространилась по всему миру идея анархии. Она явилась как политическая мысль Бакунина, потом Кропоткина, а социально-философское обоснование она получила в данном Герценом в 48 г. противопоставлении монархии и республики, « истинной, действительной, социальной » (5-ое « Письмо » серии « Опять в Париже » — « Письма из Франции и Италии »). Такой высокой — социально-философски обоснованной — политической мысли русская государственность XIX века — от самодержавного вздора Павла до тусклейшей посредственности Николая II — не знала. Она была бесплодна. На троне, так же как среди носителей власти всех рангов и ее идеологов. А социально-философское обоснование

единодержавия существовало — и еще как! —но в том, что по самой природе своей безвластно. Даже «Легенда о великом Инквизиторе» осталась только огромной социально-философской идеей без какого-либо отражения в политической мысли. А письмо Тютчева (27-X-57 г., адресовано Блудовой) свидетельствует о том, на какую высоту может поднять социальная философия политическую, даже злободневно-политическую мысль.

После того, что было сказано о русской истории, должно признать, что максимализм является одной из существеннейших черт русского национального характера. А Достоевский в таком случае должен быть понят, как писатель глубоко национальный.

Мир Достоевского находится у пределов этического и социального бытия. Персонажи его, особенно те, на которых лежит идейный замысел произведения, психологически чрезвычайно напряжены и устремлены к крайностям. Они необычайны, необычайны их взаимоотношения, а ситуации только в опорных моментах выбиваются из обыденности.

Обыкновенного Достоевский совсем не чуждался. Все его повествования разворачиваются в бытовой обстановке, вполне достоверной и тщательно, характеристично разработанной. Но в том-то и дело, что обыденное, бытовое, не владело Достоевским и ни в коей мере не подчиняло себе трактовку замысла. Он, автор, видя свои персонажи, даже самые психологически необычайные, в бытовой конкретности, «всей... массой», как говорил Гоголь, повествования вырывался из всех внешних и внутренних пут к величайшей свободе. Даже о самом катастрофическом Достоевский рассказывал настолько не форсированно — взволнованно, но без какого бы то ни было нажима, — что сама речь интонационно привязывала ситуацию к житейски достоверному.

«Идиот» — необычаен по замыслу, по основным характерам, ситуациям. Кн. Мышкин — «положитель-

но прекрасный человек ». В работе над ним Достоевский, как известно, вдохновлялся образом Христа. Настасья Филипповна поражающе красива, поражающе необузданна; глубочайше оскобленная, она мечется между двумя безднами, если говорить языком позднейшего времени. А Рогожин ? Аглая ? — разве не на пределе и они ? А между тем все, о чем повествует Достоевский, во всяком случае внешне, погружено в обыденность.

Житейски вполне достоверны и вагон третьего класса петербургско-варшавской железной дороги, который в самом начале романа в промозглое ноябрьское утро подходит к Петербургу; и мерлушечий крытый тулуп Рогожина; и теплый, но не для русского климата, швейцарский плащ Мышкина; и вполне правдоподобно тут же в вагоне завязавшееся и длящееся на протяжении всего романа знакомство Мышкина, Рогожина и Лебедева. Также достоверна « большая пачка бумаги, вершка три в высоту и вершка четыре в длину, крепко и плотно завернутая в « Биржевые Ведомости », и завязанная туго-натуго со всех сторон и два раза накрест бечевкой, — вроде тех, которыми обвязывают сахарные головы ». « Э-эх » — крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы, разгребла два тлевшие полена и, чуть только вспыхнул огонь, бросила на него пачку ». В ней было ровно сто тысяч рублей. Бросить их в огонь — да это небывалое дело ! А для Настасьи Филипповны это было начальным — психологически поразительно достоверно разработанным — актом ее бунта и разрыва с миром Тоцких.

Таков и финал романа. Трагический, необычайный и пронзительно достоверный. Мрачный, словно нежилой дом Рогожина. Его комната. Кровать за портьерой. На ней мертвая Настасья Филипповна. Рогожин подвел к кровати Мышкина. Было едва видно. « На белевших кружевах, выглядывая из-под простыни, обозначался кончик обнаженной ноги. Он казался как

бы выточенным из мрамора и ужасно неподвижен. Князь глядел и чувствовал, что чем больше он глядит, тем еще мертвее и тише становится в комнате. Вдруг зажужжала проснувшаяся муха, пронеслась над кроватью и затихла у изголовья. Князь вздрогнул.

— Выйдем, — тронул его за рукав Рогожин.

Они вышли, уселись опять в тех же стульях, опять один против другого. Мышкин так дрожал, что Рогожин боялся припадка, который мог быть услышан с улицы.

— Это ты? — выговорил он (князь) наконец, кивнув головой на портьеру.

— Это... я... — прошептал Рогожин и потупился...

Разговор был странный с одной лишь заботой так и остаться вдвоем около Настасьи Филипповны, мертвой, за портьерой.

Рогожин приготовил две постели из диванных подушек. Они легли. Потом Мышкин сказал «Слушай, скажи, как ты ее? Ножем? Тем самым?» Это был тот нож «довольно простой формы, с оленьим черенком, нескладный, с лезвием вершка в три с половиной, соответственной ширины», который Мышкин увидел на столе Рогожина при первом посещении этого дома. Тогда Рогожин забрал у Мышкина нож и заложил его в книгу. Так он пролежал до рокового часа.

По словам Рогожина, нож вошел в тело вершка на полтора-два, «а крови всего этак с пол-ложки столовой на рубашку вытекло». Удар, значит, пришелся в самое сердце.

Рассвело. Мышкин лежал «как бы совсем уже в бессилии и отчаяньи и прижался своим лицом к бледному и неподвижному лицу Рогожина; слезы текли из его глаз на щеки Рогожина, но, может быть, он уже не слышал тогда своих собственных слез и уже не знал ничего о них». Он уже был тогда и остался навсегда неизлечимо помешанным. И — эпилог.

Такова обычная система повествования Достоевского. Достовернейшая — иногда тщательно детали-

зированая, иногда скупо показанная — конкретность житейски обиходного, среди которого действуют персонажи. Такая же психологическая достоверность каждой мысли, каждого чувства, каждого акта взаимоотношений персонажей, но в присущем каждому из них душевном строе. И все это — обыкновенное и необычайное — несет в себе идею автора — ею обусловлено и ее, как итог повествования, раскрывает.

Реалистом Достоевский был всегда и оставался им при самых необычайных ситуациях. И все же ему приходилось не раз слышать и читать о себе, что он фантастичен и мир его оторван от действительности. А критики «прогрессивного» направления сверх того корили его идеализмом. «Ах, друг мой! — писал Достоевский Аполлону Майкову II-23/XII 68 г., — Совершенно другие я имею понятия о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики. Мой идеализм — реальнее ихнего. Господи! Порассказать толково то, что мы все, русские, пережили за последние 10 лет в нашем духовном развитии — да разве не закричат реалисты, что это фантазия! — между тем это исконный настоящий реализм! Это-то и есть реализм, только глубже, а у них мелко плавает... Ихним реализмом — сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты. Случалось». И правда, случалось. В середине января 66 года, до выхода январской книжки «Русского Вестника», с первыми главами «Преступления и наказания», студент Данилов убил и ограбил отставного капитана — владельца ссудной кассы и его прислугу. Случилось это в Москве. Газеты много писали о студенте-убийце. По словам Страхова, мотивировка преступления была близка к идеям Раскольникова. Достоевский, следовательно, имел полное право сказать о своей прозорливости.

Обычно замкнутый, даже скрытный, Достоевский в письмах к друзьям, особенно из-за границы, бывал

словоохотлив и не раз рассказывал о своей работе и творческих замыслах. Не раз встречаются в письмах и полемические выпады, характеризующие его литературную и общественную позицию. А к полемике Достоевский был очень склонен, он печатал свои полемические статьи во « Времени », в « Эпохе » и уговаривал Страхова, когда тот редактировал журнал « Заря », не уклоняться от полемики. Так Достоевский писал Страхову из Флоренции и тут же, в письме сам обратился к полемике, отстаивая свою литературную позицию. « У меня, — писал он, — свой особый взгляд на действительность (в искусстве), и то, что большинство называет почти фантастическим, то для меня иногда составляет самую сущность действительного. Обыденность явлений и казенный взгляд на них по-моему не есть еще реализм, а даже напротив. — В каждом номере газет вы встречаете отчет о самых действительных фактах и о самых мудреных. Для писателей наших они фантастичны, да они и не занимаются ими, а между тем они действительность, потому что они *факты*... Мы всю действительность пропустили этак мимо носу. Кто же будет отмечать факты и углублятьсяся в них ? » Кажется убедительно ? Но позиция Достоевского станет еще понятней, если это высказывание продолжить выпиской из « Дневника писателя » : « Проследите иной даже вовсе не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни — и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, которой нет у Шекспира. Но ведь в том-то и весь вопрос : на чей глаз и кто в силах ? Ведь не только, чтобы создавать и писать художественные произведения, но и чтобы только *приметить* факт, нужно тоже в своем роде художника ». Приведя эти слова, которыми Достоевский « точно нехотя раскрыл свою давнишнюю мысль о взаимоотношениях искусства и действительности », Долинин точно повторил за Достоевским : « художник — тот, кто в силах и имеет глаз ». А это значит, что вопрос : кто ? — имеет решающее

значение на всех этапах художественного творчества: от того, чтобы «приметить» и понять факты действительности, — до их отбора и воссоздания в формах и по задачам своего искусства.

Искусство и действительность... Огромная тема! Она больше ста лет вызывает ожесточенные и настолько характеристичные споры, что без них не понять русской культуры. Достоевский всегда занимал в этих спорах свою особую позицию, и голос его, доросший до пушкинской речи 1880 г., был очень слышен. К его высказываниям о живописи, верным принципам его реализма, полезно было бы и сейчас прислушаться. Такова статья «По поводу одной выставки» в «Дневнике писателя» за 73 год. Достоевский очень сочувственно отнесся к «Бурлакам» Репина, экспонированным на этой выставке передвижников, а в конце статьи сказал: «Да, г. Репин, до Гоголя еще ужасно как высоко; не возгордитесь заслуженным успехом. Наш жанр на хорошей дороге и таланты есть, но чего-то не достает ему, чтобы раздвинуться или расшириться. Ведь и Диккенс — жанр, не более. Но Диккенс создал «Пиквика», «Оливера Твиста» и «Дедушку и внучку» в романе «Лавка древностей»; нет, нашему жанру до этого далеко, он еще стоит на «Охотниках» и «Соловьях»... «Соловьев и охотников» у Диккенса множество на второстепенных местах. Я даже думаю, что нашему жанру в настоящую минуту нашего искусства... «Пиквик» и «Внучка» покажутся даже чем-то идеальным, а сколько я заметил по разговорам с иными из наших крупнейших художников — идеального они боятся вроде нечистой силы. Боязнь благородная, без сомнения, но предрассудочная и несправедливая»...

Достоевский относил к жанру все, что «изображает современную, текущую жизнь», в отличие от живописи исторической, которая показывает событие прошлого, завершенное и, следовательно, не «точь-в-точь так, как оно, может быть, совершалось в действительности», а «с прибавкой всего последующего разви-

тия ». К работам Ге Достоевский отнесся поэтому особенно резко. В его « Тайной Вечери » он увидел стремление художника трактовать историческое событие, как « совершенный жанр », а от этого смешения, находил он, все стало фальшивым. « Вот сидит Христос, — писал он о картине Ге, — но разве это Христос? Это, может быть, и очень добрый молодой человек, очень огорченный ссорой с Иудой... но спрашивается; где же тут и при чем тут последовавшие восемнадцать веков христианства ? Как можно, чтобы из этой обыкновенной ссоры таких обыкновенных людей, как у Ге, собравшихся поужинать, произошло нечто столь колоссальное ? »

Время тробовало правды. Простой, ничем не украшенной правды жизни. И оно же, время, так исказило восприятие, что только единицы избежали вытеснения правды внешним правдоподобием. В живописи, в других искусствах, как и в литературе. Были писатели, говоря языком Достоевского, « охотников и соловьев », довольствовавшиеся малыми задачами, были и такие, что добирались до « бурлаков », но оставались при том же правдоподобии, а то, может быть, обращались и к Христу, но умели увидеть в Нем всего лишь « очень доброго молодого человека ». Но именно им — по велению времени — так же, как их критикам, теоретикам и прочим блюстителям литературного благочиния принадлежало понятие реализма. А один из них — почтенный исследователь Гоголя — разъяснил реализм, как « фотографическую правду ». О таком узеньком понимании и вспомнить не стоило бы, но — что поделаешь ? — оно существует до сих пор, и когда откровенно, и когда стыдливо прикрыто. А от таких ценителей приходилось защищаться и Достоевскому, говорить, что их реализм « мелко плавает » и отмечать у них « казенный взгляд » на явления действительности.

И опять же следует вспомнить слова Достоевского : « кто в силах и имеет глаз ». В конечном счете решаю-

щее значение имеет это « кто ». Тут последний рубеж для таланта, а за ним открывается огромный простор, доступный только гению. Талант и гений несоизмеримы. Творчество гениев не вмещается в иные определения, вполне справедливые для характеристики общего движения.

Реализм Гоголя удивительно широк. Несомненно реалистичен и « Невский проспект » как по течению всего повествования, так и по входящим в него частностям. А для того, чтобы высечь поручика Пирогова, Гоголь призвал хорошо известные русским читателям великие имена : Шиллера и Гофмана. Конец же повести совсем, конечно, разрушает каноны узенького реализма. Вот он : « Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенной массой наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях, и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать всё не в настоящем виде ».

И снова мост, снова великолепие Петербурга... Но совсем иной — Петербург Достоевского. Гоголь сгустил « гром и блеск » Петербурга в огромной динамичной картине, может быть, сюрреалистической за сто лет до какого-либо сюрреализма. В ней всё — и стены домов, и мосты, и кареты, и брошенный фонарями свет — всё поразительно зримо, феерически ощутимо и направлено к тому, чтобы обнажить дьявольскую ложь.

Перед Достоевским была совсем другая задача. Открывающееся с Николаевского моста великолепие Петербурга нужно было Достоевскому не само по себе, а для того, чтобы соотнести с психологическим состоянием Раскольникова. Не раз, рассказал Достоевский, возвращаясь из Университета и проходя по мосту по направлению к дворцу, Раскольников « пристально вглядывался в эту действительно великолепную пано-

раму и каждый раз почти удивлялся одному неясному и неразрешимому, своему впечатлению. Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы : духом немым и глухим была для него эта пышная картина ». — Так бывало раньше. Теперь же — на другой день после убийства старухи-процентщицы, побывав уже в полиции, у Разумихина, схоронив в тайном месте всё взятое у убитой, — когда Раскольников, почти в бреду, возвращался домой и остановился на Николаевском мосту у перил, « уже одному, то показалось ему дико и чудно, что он на том же самом месте остановился как прежде, как будто и действительно вообразил, что может о том же самом мыслить теперь, как и прежде, и такими же прежними темами интересоваться, какими интересовался... еще так недавно... В какой-то глубине, внизу, где-то чуть видно под ногами, показалось ему теперь всё это прежнее и прошлое, и прежние мысли, и прежние задачи, и прежние темы, и прежние впечатления, и вся эта панорами, и он сам, и всё, всё... Казалось, он улетал куда-то вверх, и всё исчезало в глазах его »... Вдруг он ощутил зажатый в кулаке — поданный ему Христа ради — двугривенный, поглядел на монетку, размахнулся и бросил ее в воду — туда, где « в какой-то глубине, внизу, где-то чуть видно под ногами » мерещилось его прошлое. Все исчезло и осталась лишь последняя неотвратимая реальность каждого душевного движения — преступления и наказания Раскольникова.

V

К ИСТОРИИ « ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ ».

9/X-59 г. в пространном письме о своих литературных делах Достоевский писал М. М-чу, недавно навестившему его : « Помнишь ли, я тебе говорил про одну *исповедь*-роман, который я хотел писать после всех, говоря что еще самому надо пережить... Все сердце мое с кровью положится в этот роман. Я задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения... *Исповедь* окончательно утвердит мое имя ». — О каком романе говорил здесь Достоевский ? Ответа нет. Не о том ли, работу над которым Достоевский откладывал до возвращения в Россию и о которой Достоевский писал М. М-чу 31/V-58 г. из Семипалатинска. Сакулин не дал прямого ответа на вопрос, говорится ли в обоих письмах об одном и том же замысле. Но он привел слова Ореста Миллера, который высказал предположение, что речь идет о « Преступлении и наказании ». Сказал об этом Орест Миллер глухо, без каких-либо ссылок, а по своим личным отношениям с Достоевским он мог многое знать непосредственно от него.

Что касается слова « исповедь », то Достоевский не раз характеризовал так свои произведения (напри-

мер, повести о Неточке Незвановой, над которой еще работал, о Голядкине — в письме М. М-чу I-II. 47 г.), но в письме 9/X-69 г. « Исповедь » сказано не как характеристика, а как название предполагаемого романа *) О большом романе с тем же названием « Время » объявляло дважды (в декабре 62 г. и в январе 63 г.). Но это не может служить основанием для утверждения, что Достоевский уже писал этот роман : напечатан он не был, а объявления появились в самое горячее время подписки на новый — 63 г.

В 1931 году И. И. Гливенко опубликовал « Записные книжки » Достоевского к « Преступление и наказание ». На стр. 149 2-й « Записной книжки » (стр. 162 изд. Гливенко) читаем : « Примечание к « Исповеди », а непосредственно за этим, так же как и перед этим, идут записи несомненно к « Преступлению и наказанию ».

Вот это подтверждает, что « Исповедь » — первоначальное название « Преступления и наказания », и, следовательно, замысел романа относится к годам каторги, к « минуте грусти и саморазложения ». Что же касается писем 9/X-59 и 31/V-58 г. **), то в них, нужно полагать, речь идет об одном и том же замысле и этот замысел воплотился впоследствии в « Преступлении и наказании ».

Работа над романом долго откладывалась. Из Сибири Достоевский мотивировал это необходимостью (для самого романа) вернуться в Россию. В Твери и Петербурге прошли еще годы. Достоевский не торопился. Возможно, что работа для « Времени », потом для « Эпохи », осуществление других замыслов, личные беды действительно не давали возможности Достоевскому засесть за « Преступление и наказание ».

---

*) О большом романе с тем же названием « Время » объявляло дважды (в декабре 62 г. и в январе 63 г.).

**) Хотя считается, что в этом письме 31/5. 58 г. Достоевский говорил об « Униженных и оскорбленных ».

Можно предположить и то, что Достоевский не брался за роман, не считая замысел вполне созревшим. Но можно с уверенностью сказать, что замысел не угас.

К работе над ним Достоевского привело событие внелитературное и бедственное. Это было в Висбадене, в августе 65 г., а по «Игроку» — в Рулетенбурге, как первоначально назывался этот роман. Достоевский играл — и проигрался. В пух и прах. Жить было не на что. В гостинице не плачено. Достоевский писал во все стороны — просил денег взаймы. И ждал, ждал... Каково было его положение, он сам писал в письме А. Сусловой 12-24/VIII-65 г.: «Продолжаю не обедать и живу утренним и вечерним чаем вот уже третий день и странно: Мне вовсе не так хочется есть. Скверно то, что меня притесняют и иногда отказывают в свечке по вечерам (особенно) в случае если остался от вчерашнего дня хоть крошечный огарочек. Я, впрочем, каждый день в три часа ухожу из отеля и прихожу в шесть, чтобы не подать виду, что я совсем не обедаю. Какая хлестаковщина!»

Тогда то и было написано письмо Каткову (первая половина сентября 65 г.) из Висбадена, с которого обычно начинается творческая история «Преступления и наказания». Впоследствии Достоевский вспоминал, что после проигрыша он «выдумал» «Преступление и наказание» и придумал завязать сношения с Катковым». Эти слова Достоевского можно понять так, будто замысел «Преступления и наказания» и решение написать Каткову возникли одновременно. Но Достоевский, как известно, сам не доверял своей памяти, временами слабевшей под воздействием эпилепсии. На этот раз память действительно подвела Достоевского: она выделила и слила разновременные и — что особенно важно — совсем неравноценные события.

Творческая история «Преступления и наказания» была куда сложней. Нужно, прежде всего, отметить, что письмом Каткову Достоевский предлагал журналу повесть в 5-6 листов, — «психологический отчет одно-

го преступления », — которую можно условно назвать « повестью о Раскольникове ». Ее, по словам самого Достоевского, он пишет уже два месяца, и она близка к окончанию. Исследователям же известно, что в « Преступлении и наказании » слились два замысла : давний, который, нужно полагать, возник еще в годы каторги, и о котором Достоевский дважды писал М. М-чу — из Семипалатинска и из Твери — и совсем недавний — роман « Пьяненькие », который Достоевский еще в Петербурге, до отъезда в Висбаден, предлагал (но безрезультатно) Краевскому. Известно также, что « Пьяненькие » легли в « Преступление и наказание » семьей Мармеладовых, с ним Мармеладовым во главе, о встрече с которым Раскольников (когда повествование велось от 1-го лица) сказал, что « во всем моем деле эта встреча играет большую роль ». В работе, о которой Достоевский писал Каткову, оба замысла, уже слились. Об этом свдетельствует запись 14/X в 2 Записной книжке (на пароходе Viceroy, на котором Достоевский возвращался в Петербург из Копенгагена, где он, проездом из Висбадена, гостил у Врангеля) : среди эпизодов, прямо относящихся к Раскольникову, читаем : « выдаче вдове Мармеладова денег ».

Но почему Достоевский предлагал « Русскому Вестнику » только « повесть о Раскольникове », хотя и сросшуюся с « Пьяненькими », но еще далекую до « Преступления и наказания » ? Может быть Достоевский не хотел говорить о дорогом ему замысле с малознакомой ему редакцией, да еще в письме ? А чтобы заинтересовать редакцию, не раскрывая всего замысла, он акцентировал в письме Каткову то, что относится к современным « недоконченным » идеям и имеет, следовательно, четкую полемическую направленность. Можно также предположить, что данный, сохранявшийся от времен каторги, замысел существовал только в идее, еще очень далекой до конкретного ее воплощения. Сближение же идеи с « повестью о Раскольнико-

ве » могло происходить в самой работе над повестью и, осветив ее новым светом, привести Достоевского к соц.-фил. роману « Преступление и наказание ».

Так ли это было? Обратимся опять к записным книжкам. При этом нужно непременно помнить, что И. И. Гливенко опубликовал « Записные книжки » в том порядке, какой им дала Анна Григорьевна Достоевская, но пересмотрел — и с полным основанием — их датировку. Так, первой по времени нужно признать « записную книжку », помеченную Анной Григорьевной второй и заполнявшуюся Ф. М. в сентябре-октябре 65 г. За ней идет « записная книжка », поставленная Анной Григорьевной первой и отражающая работу Ф. М. в ноябре-декабре 65 г. Третья « записная книжка » так и остается 3-й и датируется 1-II-66 г. Таким образом записи 2-й книжки дают самый первый слой « Преступления и наказания » — работу, главным образом, в Висбадене и над I и II частями, включая срастание « повести о Раскольникове » с « Пьяненькими ». Записи же 1-й книжки фиксируют продолжение висбаденской работы в Петербурге и потом (с начала декабря) перерастание повести в роман. А этот существенный в истории « Преступления и наказания » процесс ясно обнаруживается при сопоставлении записей, относящихся к двум темам : 1) как мотивировано решение Раскольникова явиться с повинной; 2) для чего Раскольников совершил преступление.

Во 2-й « записной книжке » на стр. 10 читаем : « И потому теперь я всю жизнь *один!* Один и с женой, один и с людьми ! Один всегда. Может быть благословлять меня будут другие, всегда один. У меня тайна, которую, если бы узнали, тотчас же с ужасом бы отвернулись. И потому я навек один ». Эта тема отверженности, одиночества, на которое обречен он — убийца, как мотивировка признания, с полной ясностью дана в дальнейшей записи — на стр. 19-й той же 2-й записной книжки : « Картина золотого века...

« Но какое право имею я, я, подлый убийца, желать счастья людям и мечтать о золотом веке.

« Я хочу иметь на это право ».

« и вследствие того... он идет и на себя доказывает. Заходит только проститься с *ней*, потом поклон народу — признание ». Так был решен Достоевским один из вариантов финала в повести.

В романе же, как и в 1-ой « записной книжке » — с выдвижением на первый план новых тем и с возрастанием значения Сони (а по записи в 1-й « записной книжке » на стр. 109 : « К Мармеладовой он ходил вовсе не по любви, а как к Провидению ») мотивировка финала намечается совсем иная : « *Главная идея* (Эврика)... Спор у него с Мармеладовой. Та говорит : покайтесь. Перспектива новой жизни и любви ему показывает » (ни слова о любви).

« Тот предает себя наконец побежден » (1 записная книжка стр. 124).

О том же и еще более открыто говорит запись на 133 стр. : « Главное... Сообщает Соне свое презрение к людям... Наконец примиряется со всеми. Видение Христа. Прощение просит у народа... Соня и любовь сломали ».

Так же существен переход от повести к роману в теме для чего совершено убийство. На стр. 4-ой, 2-й, « записной книжки » Достоевский записал : « Бедная мать, бедная сестра. Я хотел для вас. Если есть тут грех, я решил принять на себя, но только чтоб вы были счастливы ». Там же на стр. 14 : « О мать, о сестра, все для вас милые ». На стр. 30 : « О матери, о сестре : нет, для вас, для вас милые создания ! »

В полном противоречии с этими записями находятся дальнейшие на ту же тему в 1-ой и 3-ьей « записных книжках ». Так, в 3-й « записной книжке », т. е. после ноября-декабря 65 г., когда шло перестроение повести в роман, Раскольников отвечает на заданный ему (возможно, Соней) вопрос : « Вы чтоб матери помочь это сделали », « нет, совсем нет, для себя, для себя

одного я не хотел несправедливость, — или: я не для других, я для себя, для одного себя это сделал». — И действительно, в окончательном тексте «Преступления и наказания» Раскольников решительно отказывается от прежней мысли «для вас, для вас, милые создания». Им владеет идея, или, как говорит Порфирий Петрович, его «теория», она все поглощает, все себе подчиняет и перестраивает.

18 февраля 66 г. Достоевский писал Врангелю: «Сижу над работой как каторжник. Это тот роман в Русский Вестник. Роман большой в 6 частей. В конце ноября было много написано и готово; я все сжег; теперь в этом можно признаться. Мне не понравилось самому. Новая форма, новый план меня увлек и я начал работу сызнова. Работаю я дни и ночи и все-таки работаю мало». Достоевский сам сказал о кардинальном переломе в работе. Все написанное Достоевский, по его словам, сжег. Сопоставить с окончательным текстом нечего и, таким образом, как будто отпадает возможность точно выяснить, в чем заключался перелом в работе. Но существуют «записные книжки», и они окажут не малую помощь.

Нужно отметить, что в записных книжках очень мало дат. Датированные Достоевским записи должны поэтому привлечь особое внимание. На 103 стр. 1-й «записной книжки» Достоевский записал: «С 7 декабря

— Это не правда-с, говорит Соня.

А в комфорте-то, в богатстве-то вы бы может ничего и не увидели из бедствий людских, Бог кого очень любит, на кого много надеется, посылает тому много несчастий, чтоб он по себе узнал и больше увидел, потому в несчастии больше в людях видно горя чем в счастии.

— А может и Бога нет, говорит он ей.

Она хотела было возражать, но вдруг заплакала.

— Ну что ж бы я без Бого-то была?

— С горем-то в (иной раз) больше счастья». Значение этой записи для всего «Преступления и

наказания » становится особенно ясным при сопоставлении с записью в 3-й « записной книжке », стр. 3 :

« Идея романа.

... Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием ».

« Человек не родится для счастья. Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием ». — И мысли, зафиксированные в этих записях, и некоторые реплики, текстуально перенесенные в роман, легли в самую идейную основу романа. И выразительницей этих мыслей — христианских начал всего романа — является Соня.

В повести этого не было. Во 2-й « записной книжке », еще в начале работы над первой встречей Раскольникова с Мармеладовым, Достоевский записал такие слова последнего : « т. е. Бога-то нет-с, и пришествия Его не будет... тогда... тогда жить нельзя... Слишком зверино... тогда бы в Неву и я бы тотчас-же бросился. Но М.Г. это будет, это обещано... ». В окончательном тексте ни этих слов, ни этой темы у Мармеладова нет. Она отдана Соне.

В творческой истории « Преступления и наказания » Соня прошла наиболее длинный путь. Было даже так, что Достоевский записал : « Дочь чиновника мимоходом, чуть-чуть и оригинальнее вывести. Простое и забитое существо. А лучше грязную и пьяную с рыбой. Ноги целует ». По положению в конце 2-й « записной книжки » (стр. 149) эта запись должна быть отнесена к последней стадии работы над повестью. Но по торопливому, часто небрежному характеру записей позволительно предположить, что Достоевский вносил их не подряд, так что начальная запись могла оказаться в конце книжки, и наоборот. Тогда станет понятно почему Мармеладов, уже давно получивший свою фамилию, стал, как в самом начале работы над повестью, « чиновник » (а был и « чиновник с бутылкой »). Понятна тогда станет и такая невозможная для буду-

щей Сони реминисценция «Записок из подполья» («грязная и пьяная с рыбой»).

Если запись на стр. 103 1-й «записной книжки» (под датой «с 7 декабря») вводит в «Преступление и наказание» христианское начало, которое в осуществленном романе получит очень глибокое развитие, то со след. — 104 стр. начинаются записки, раскрывающие идею Раскольникова, ведущую его к преступлению и наказанию. Среди других записей на 104 стр. такая: «А завтра же меня другой Наполеон за вошь сочтет и под Маренго истратит или может и просто из-за угла топором истратит». Следующая, идущая непосредственно за этой, запись такова: «Личность. Она мне на одно мгновение дана и это мгновение» (запись не окончена). А на следующий 105 стр. запись, углубляющая мотивировку и преступления и наказания: «о нет, это была не глупость, это была не молодость, это была не нечаянность, а это было убеждение, неуважение к личности».

Что же касается Наполеона (стр. 104), то Достоевский не раз упоминал его и во 2-й «записной книжке», но мимоходом, как общеизвестное. Здесь же, в 1-й, «записной книжке», в противопоставлении понятию «вошь», которое войдет в основной текст, и вместе с записью о личности, «Наполеон» несомненно вводит в идею — «теорию» Раскольникова.

К ней же — к идее — «теории» Раскольникова ведет ряд записей после 103-105 стр. Так, на стр. 114: «Я не могу не жить. Я понимаю свое значение под словом жизнь. Я не такой человек, чтоб дозволить мерзавцу губить беззащитную слабость. Я вступлюсь. Я хочу вступиться (А для того) власти хочу».

На той же странице вариант: «N.B. *Мысль*. Ночное странствование. Солнце, жизнь, жизнь! Мастера жизни не так делали. Они весь свет переворачивали. Они сотнями тысяч как по шахматной доске ходили! Отчего же они не колебались? Оттого, что были сильны».

На стр. 117: «Что ж, если совесть меня не обвинит

я власть беру, я силу добываю, — деньги ли, могущество-ль не для худого. — Я счастье несу. Что-ж из-за ничтожной перегородки стоять смотреть по ту сторону перегородки, завидовать, ненавидеть и стоять неподвижно. Низко это!»

Все, отраженные 1-й «записной книжкой» поиски, ведут, прежде всего, к Раскольникову — его характеристике и к мотивировке преступления. На стр. 118 записано: «*Главная анатомия романа*».

«Непременно поставить ход дела на настоящую точку и уничтожить неопределенность, т. е. *так или этак* объяснить все убийство, и поставить его характер и отношения ясно». На той же странице читаем: «гордость, личность, заносчивость». Эта запись несомненно относится к Раскольникову и находится в полном согласии с другими записями, говорящими о его «сатанинской», «бесовской гордости». И в пространной записи на стр. 107 — конспективной фиксации основных ситуаций повествования — «сатанинской гордостью», конечно, подсказаны следующие слова: «отчего они не стонут? Crevez, chiens, si vous n'êtes pas contents».

Эта мысль встречается неоднократно и в 1-й и 2-й «записных книжках», т. е. на различных стадиях работы. Настойчивое ее повторение заставляет ожидать широкого ее развития в окончательном тексте. Этого нет. Можно предположить, что редакция «Русского Вестника» сама, своею редакторской властью, «поправила» Достоевского и изъяла эту непозволительную мысль, направленную против смирения и покорности.

Теперь, после сопоставления записей 1-й и 2-й «записных книжек», и помня датировку, данную И. И. Гливенко, можно высказать предположение, в чем заключался перелом в работе над «Преступлением и наказанием, когда Достоевский сжег, по его словам, все написанное и стал писать заново. «Она никуда не годна», «для чего она живет?». «Полезна ли она хоть

кому-нибудь? » и т. д. Эти вопросы сбивают с толку молодого человека. Он решает убить чиновницу-процентщицу, — написал Достоевский в первом письме Каткову из Висбадена. Так или иначе, повесть должна была ответить на эти вопросы. « Психологического отчета одного преступления » и то, что оно вызвано « странными « недоконченными » идеями, которые носятся в воздухе », было для этого явно недостаточно. В лучшем случае они могли дать ситуации, полемически направленные против « теории разумного эгоизма » в стиле Лужина-Лебезятникова. Вопросы были поставлены так прямо, что одной полемической направленностью повести никак нельзя было обойтись. Под пером Достоевского работа над повестью невольно упиралась в давно хранимую им идею. Развивать ее, тем более строить на ней повесть Достоевский не собирался. Об этом свидетельствует и письмо Каткову с предложением только повести в 5-6 листов, и весь состав 2-й « записной книжки ». И прямым подтверждением этого является запись на 18 стр. (м. б. там же на пароходе Viceroy) той же 2-й « записной книжки », в связи с анализом Раскольниковым своего преступления: « Впрочем только вообще и слегка, главную идею ».

А после перелома, как показывает 1-я « записная книжка », Достоевский стремился к тому, чтобы точней раскрыть, воплотить « главную мысль » Раскольникова и противопоставить ей христианскую позицию Сони. И с этим « повесть о Раскольникове » (уже слившаяся с « Пьяненькими ») переросла в соц.-фил. роман — « Преступление и наказание ». « Мой роман », — написал Достоевский в декабрьском письме Каткову, тогда как раньше говорил только о повести. Все изменилось: роман потребовал совсем иного объема и работа над ним протянулась на весь 66 год.

Но на первых двух частях перелом отразился мало. Настолько мало, что печатание романа началось с январской книжки « Русск. Вестника » за 66 г., а из

декабрьского 65-го письма Достоевского Каткову известно, что к этому времени журналу уже было послано « никак не менее 7 листов, а может быть и восемь ». « На днях », прибавил Достоевский, « вышлю окончание 2-й части и не замедлю с третьей ». Нужно полагать, что, вопреки сказанному им в письме Врангелю, Достоевский сжег совсем не все, что I и II части, в основном, сохранились и вошли в окончательный текст. А это было возможно потому, что в них было преступление, но ничего от мотивировки его, исходящей из идеи — « теории » Раскольникова. Верней в I-II частях были только намеки на идею Раскольникова — намеки интригующие, как в романе, в основе которого лежит тайна. Об идее Раскольникова Достоевский рассказал только в III части (гл. V) романа и то в изложении Порфирия Петровича.

« Записные книжки » включают записи, относящиеся и к эпизодам, персонажам, их взаимоотношениям, которых вовсе нет в окончательном тексте, и которые вели к усложнению романической стороны повествования. Нужно полагать, что работа Достоевского шла в направлении упрощения внешнего развития и углубления идейной стороны. На стр. 107 1-й « записной книжки » Достоевский записал : « Перерыть все вопросы в этом романе ». Непосредственно вслед за этим идут записи о структуре романа и о переходе к повествованию от 3-го лица. А это говорит о том, что « новая форма, новый план », как сказал Достоевский в письме Врангелю, возникали в сознании Достоевского вместе с идейной перестройкой.

« Записные книжки » отражают личную, внутреннюю работу Достоевского, его поиски, отказы, находки, колебания. Но были и внешние трудности. Письма Достоевского рассказывают о серьезных разногласиях с редакцией « Русск. Вестн. » из-за главы, в которой Раскольников посещает Соню, и она, по его просьбе, читает ему евангельское повествование о воскрешении Лазаря. В письме Достоевского Милюкову (VII, 66 г.,

Люблино) говорится, что и Катков, и Любимов настаивали на переработке этой главы, отказываясь ее печатать в том виде, как она была сдана. « Я ее написал в вдохновении настоящем », писал Достоевский Милюкову, ...но дело у них не в литературных достоинствах, а в опасении за *нравственность*... Ничего не было против нравственности и даже *чрезмерно напротив,* но они видят другое и кроме того видят следы нигилизма ». Первоначальная редакция этой главы, которая вызвала возражения редакторов, до нас не дошла. По примечаниям Долинина к письмам Достоевского, эта глава была « намного больше, чем в печатном тексте » и в ней « резче и гораздо полней, убедительней (Раскольников) противопоставлял свою теорию « все позволено » евангельской морали Сони ». Редакция в этом вопросе была с Достоевским очень жестка : в примечаниях сообщается (со ссылкой на неопубликованное письмо Каткова), что « Катков своею властью исключил (из этой главы) уже после ее исправления Достоевским, целый ряд строк относительно характера и поведения Сони ». Хотя Достоевский писал Милюкову, что эта переработка « стоила (ему) по крайной мере 3-х новых глав, судя по труду и тоске »; хотя Достоевский в письме Любимову (8/VII-66 г.) просил « *ради Христа* » оставить в переработанном тексте « как есть теперь », — нет никаких признаков, что он протестовал против новых, внесенных Катковым, поправок. Мало того, в том же письме Любимову Достоевский благодарил редакцию за то, что ему пришлось « пересмотреть... еще раз рукопись прежде печати ». « Решительно говорю, что не оставил бы сам без поправок », добавил он. Что это — уступчивость, какую трудно предположить в Достоевском ? Или свидетельство сознательного (вопреки тому, что писал Достоевский Милюкову) подчинения редакции, чтобы вытравить « следы нигилизма » ? А были в Достоевском эти « следы », да еще в 66 г. ? На этот вопрос еще должно ответить литературоведение.

А теперь пора отметить, что идея — « теория » Раскольникова была высказана Достоевским впервые в мировой литературе. И, конечно, неизбежно возникает вопрос о влияниях. Предположений было много. Последним, кажется, было указание на « Жизнь Юлия Цезаря » Наполеона III, вызвавшую пумный интерес на Западе и переведенную в России. Но таких предшественников — и с гораздо большим правом — можно назвать много : Стендаля, Карлейля, Штирнера, Жюля до Мэстра и др. Не правильней ли признать, что существуют идеи времени, обусловленные культурно-историческим развитием и в той или иной мере воплощенные в тех или иных произведениях ? В творчестве же Достоевского эта идея времени получила наиболее глубокое выражение.

Будущее же этой идеи велико. Прежде всего, тут надо назвать Ницше. Да он и сам говорил о влиянии Достоевского. Но у Достоевского выражена идея не только « сверхчеловеческой » воли, власти — « все позволено » к тому призванных, но всегдашняя непреодолимая (очень сильная у Раскольникова) тяга к уничтожению зла в человеческом обществе. Это ли, « по ту сторону добра и зла » Ницше ?

Как писал Достоевский в письме 9/X-59 г., замысел « Преступления и наказания » возник у него, нужно считать, на каторге, « в тяжелую минуту грусти и саморазложения ». У Раскольникова, рассказал Достоевский, идея — « теория » его пришла к нему, когда он « бежал всякого общества » и думал, думал, « лежа целыми сутками в углу ». А « угол » его — крохотная клетушка, половину ширины которой занимала софа, когда-то обитая ситцем, а теперь в лохмотьях, — имела « самый жалкий вид со своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стены обоями ». А желтый цвет в « Преступлении и наказании » следует, по-видимому, отнести к реалиям. Желтыми обоями была оклеена комната чиновницы-процентщицы, где произошло убийство. На ней самой, когда Раскольников пришел

к ней с « просьбой », была « пожелтелая меховая кацавейка ». В полицейской конторе, при первом посещении ее Раскольниковым, когда он очнулся, около него стоял человек « с желтым стаканом, наполненным желтою водой ». А Свидригайлов последнюю ночь свою, перед самобуйством, провел в жалком гостиничном номере с желтыми обоями.

В клетушке Раскольникова, еще до преступления, когда он только думал о нем, у него произошел разговор с Настасьей, прислугой, в котором та спросила его :

« ...а теперь пошто ничего не делаешь ?

— Я делаю... — нехотя и сурово проговорил Раскольников.

— Что делаешь ?

— Работу...

— Каку работу ?

— Думаю, — серьезно отвечал он, помолчав.

Настасья так и покатилась со смеху ».

Они страшны, мысли, которые приходят к такому Раскольникову, одержимому « сатанинской гордостью », когда он целыми сутками лежит в « углу » с желтыми обоями, под самой крышей густо населенного беднотой пятиэтажного дома на одной из пьянейших улиц Петербурга, около Сенной.

VI

ДОН-КИХОТ

« Дон-Кихот » Сервантеса был для Достоевского « величайшей и самой грустной книгой из всех, созданных гением человека ». О Дон-Кихоте он говорил не раз, а в « Дневнике писателя » посвятил ему целую главу, в которой впервые, кажется, отметил интереснейшую его черту. « Самый фантастический из людей, — писал Достоевский, — до помешательства уверовавший в самую фантастическую мечту, какую лишь можно себе вообразить, вдруг впадает в сомнение и недоумение, почти поколебавшее его веру. И любопытно, что могло поколебать : не нелепость его основного помешательства, не нелепость существования скитающихся для блага человечества рыцарей, не нелепость тех волшебных чудес, которые о них рассказаны, в « правдивейших книгах », нет, а самое, напротив, постороннее и второстепенное, совершенно частное обстоятельство. Фантастический человек вдруг *затосковал о реализме !* Не акт появления волшебных армий смущает его : о, это не подвержено сомнению, и как же бы могли эти великие и прекрасные рыцари проявить всю свою доблесть, если бы не посылались на них все эти испытания, если б не было завистливых великанов

и злых волшебников? Идеал странствующего рыцаря столь велик, столь прекрасен и полезен и так очаровал сердце благородного Дон-Кихота, что отказаться верить в него совсем уж стало для него невозможностью, стало равносильно измене идеалу, долгу, любви к Дульцинее и к человечеству... Но смутило его лишь то, самое верное, однако, и математическое соображение, что как бы ни махал рыцарь мечом, и сколько бы ни был он силен, все же нельзя победить армию в сто тысяч в несколько часов, даже в день, избив всех до последнего человека. Между тем, в правдивейших книгах это написано. Стало быть написана ложь. А если уж раз ложь, то и все ложь. Как спасти *истину*? И вот он придумывает для спасения истины другую мечту, но уже вдвое, втрое фантастичнее первой, грубее и нелепей, придумывает сотни тысяч наваждённых людей с телами слизняков, но зато по которым острый меч рыцаря может вдесятеро удобнее и скорее ходить, чем по обыкновенным человеческим. *Реализм*, стало быть, удовлетворен, правда спасена и верить в первую главную мечту можно уже без сомнений — и все опять-таки единственно благодаря второй уже гораздо нелепейшей мечте, придуманной лишь для спасения реализма первой». — Как и весь «Дневник писателя», разговор о Дон-Кихоте имел политическую направленность. Но непосредственно вслед за ним Достоевский обратился к читателям: «Спросите самих себя: не случалось ли с вами сто раз, может быть, такого же обстоятельства в жизни?... Не придумывали ли вы новой мечты, новой лжи, даже страшно, может быть, грубой, но которой вы с любовью поспешили поверить, потому что она разрешала первое сомнение ваше?» — С Достоевским это несомненно случалось. И следует отметить, что сказал Достоевский об этом именно в «Дневнике писателя», где и выдвигал «новые мечты, новые лжи», очень грубые, конечно, но укреплявшие, казалось ему, его основную мысль.

В «Записках из Мертвого дома» Достоевский ска-

зал: «отрезанный ломоть». Услышал он это слово у каторжан, или оно явилось ему в работе над «Записками из Мертвого дома», оно точно передает самочувствие Достоевского в годы каторги и непосредственно после нее — в длительное и тягостное время переоценки ценностей. Идейная основа этого процесса — народ и христианство, вернее, православие. Отторженность — «отрезанность» от жизни в этих великих идеях была мукой Достоевского, с которой он вышел с каторги, а возвращение к ним становилось краеугольным камнем его мировоззрения и общественной позиции. К сожалению, этот период изучен явно недостаточно. А к нему ведь относятся и годы «Времени» и «Эпохи», которые во всем своем составе дают богатый материал для понимания пути, пройденного Достоевским, и тех впечатлений отечественной и заграничной жизни, под воздействием которых складывались его убеждения. Но и сейчас можно с уверенностью сказать, что основной чертой этого пути было слияние двух идей: народа и христианства. «Народ богоносец», сказал у Достоевского Шатов в «Бесах». Так ли буквально говорил Достоевский в других случаях или нет, той же мыслью пронизан весь «Дневник писателя» *). И эта очень и очень спорная, даже одиозная для очень многих мысль стала для Достоевского непреложной истиной.

Публицистика Достоевского была обращена к передовому русскому обществу. Подавляющее его большинство, его либеральные и радикальные слои были

---

*) Достоевский явно не договорил своей мысли. Во всяком случае, в самом конце жизни, в последнем выпуске «Дневника писателя», Достоевский писал: «Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит что спасется лишь *всесветлым единением во имя Христово*. Вот наш русский социализм!» И там же, несколько выше, Достоевский сказал: «Есть у него (у русского народа) только Бог и Царь — и этими двумя силами и двумя великими надеждами он и держится»...

направлены в диаметрально противоположную сторону. Расхождения были очень глубоки. И как бы настойчиво Достоевский ни говорил об органическом единстве, основным фактом русской общественной жизни становился распад. Время работало против Достоевского. В сложившейся — крайне неблагоприятной для него — обстановке Достоевский и не думал складывать оружие. Он упорствовал. И, как истинный Дон-Кихот, искал поддержки в том, что все дальше и дальше уводило его по ложному пути.

« Ложь спасается ложью » — такой заголовок дал Достоевский главе о Дон-Кихоте. Такой мнимо спасительной ложью возникали его монархические, грубо националистические, охранительные и другие всего лишь подставные идеи. Так в стремлении спасти русское общество от пагубных идей и от « Хрустального дворца » западной жизни Достоевский все глубже врастал в мировоззрение реакционных кругов. Так возникло и укреплялось его сближение с узколобым Победоносцевым. Так в « Дневник писателя » ввертывались такие декларации : « У нас, русских, есть, конечно, две страшные силы, стоящие всех остальных в мире, это всецельность и духовная нераздельность миллионов народа нашего и теснейшее единение его с монархом ».

И непременно нужно отметить, что все эти идеи политические. В том же, что относится к явлениям социальным, Достоевский был очень устойчив — от начальных литературных выступлений до последних лет жизни.

Творчество Достоевского насквозь социально. С социально окрашенной темы « маленького человека » — с душевно очаровательного Макара Девушкина — Достоевский начал и через много лет, после того как тема « маленького человека » как будто заглохла, закончил « Братьев Карамазовых » похоронами Ильюши Снегирева и первым словом Алеши Карамазова в миру, по завещанию старца Зосимы. А до этого, после первого допроса Мити Карамазова в Мокром, Достоевский

рассказал его странный — « совсем не к месту и не ко времени » — сон о « дитё », причем подчеркнул значение этого слова, вынеся его в заглавие главы. В дальнейшем же, в тюрьме, при свидании накануне суда с Алешой, это « дитё » сплелось с огромными словами Мити о гимне из каторжного подземелья Богу, радости, и жизни. « Он побледнел, губы его вздрагивали, из глаз катились слезы ». « А их ведь много », — говорил он о возрождении и воскрешении « замерших сердец » каторжников, « их сотни, и все мы за них виноваты ! Зачем мне тогда приснилось « дитё » в такую минуту ? Отчего бедно « дитё » ? Это пророчество мне было в ту минуту ! За « дитё » и пойду. Потому что все за всех виноваты. За всех « дитё », потому что есть малые дети и большие дети. Все — « дитё ». За всех я пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти. Я не убил отца, но мне надо пойти. Принимаю ! Мне это здесь все пришло... вот в этих облезлых стенах ».

Духовный опыт Достоевского поразительно богат. Ему было доступно необычайно много. Тривиальная тема материальной нужды достигла в его творчестве необычайной высоты. Огромная « теория » Раскольникова выработалась на почве социальной неправды и бунта против нее. Таков и бунт Ивана Карамазова, дальнейшей, обогащенной жизни Раскольникова. Деньгами, денежными интересами движима, в основном, фабула « Братьев Карамазовых ». А Аркадий Макарович Долгоруков — подросток и член « случайного семейства » — одержим идеей власти денег и стремлением стать над ней.

Разрыв политического и социального очень интересно сказался на « Бесах ». И материал исходный, и, в значительной мере, фабула, и многие частности почерпнуты Достоевским в политической злободневности, однако политические мерки совершенно недостаточны для суждения о всем романе в целом, романе социально-философском. Политическое толкование чрезвычай-

но умаляет значение таких персонажей, как Ставрогин, Петр Верховенский, Шатов, Кириллов. А Шатов и Кириллов, прежние участники революционного движения, «на последние деньжишки» побывали в США, чтобы «личным опытом проверить на себе состояние человека в самом тяжелом общественном положении». Они и работали, и мучались, и, не выдержав, ушли от «эксплоататора» и потом, безработные, в каком-то городишке «пролежали на полу четыре месяца рядом». Шатов думал об одном, Кириллов о другом, а эти-то мысли дают им полноценную жизнь в романе, ими мотивирован их отход от революционного движения и их судьбы. Так же пуст стал бы Петр Верховенский, «мелкий бес» революции, при таком ограниченном толковании романа. И все они восходят к Ставрогину, даже капитан Лебядкин — и тот зависим от Ставрогина не только денежно, а сам Ставрогин, непонятный и страшно притягательный, неподвижен на протяжении всего романа. Он — центр, вокруг которого беснуются идеи и страсти, он же в нескольких словах эпилога провиденциально погибает в петле гражданином швейцарского капитана Ури.

В пушкинской речи Достоевского, — но не столько в самой речи, как в сопоставлении с ее защитой в «Дневнике писателя», — разрыв политического и социального выразился особенно рельефно. В самой речи Достоевский был очень сдержан — такую задачу поставил он себе сам. При всей ее мировоззренческой глубине и силе выражения она была очень скупа в отношении политических и религиозных тем. Говоря о пушкинской Татьяне, Достоевский совсем даже отказался от религиозной трактовки ее позиции. «О, я ни слова не скажу, — говорится в речи, — про ее религиозные убеждения, про взгляд на таинство брака, — нет, этого я не коснусь». Только в конце речи, говоря о Пушкине, как о выразителе всечеловечности русского народа, Достоевский сказал: «Что делала Россия во все эти два века (со времени Петра) в своей полити-

ке, как не служила Европе, может быть, гораздо больше, чем себе самой? Не думаю, чтобы от неумения лишь наших политиков это происходило. О, народы Европы и не знают, как они нам дороги!» И тут Достоевский высказал свою заветную — и в высшей степени фантастическую — мечту, что русскому народу исторически предопределено привести все народы к «великой, общей гармонии, братскому окончательному согласию всех племен по Христову евангельскому закону».

В речи Достоевский декларировал свою позицию, освященную именем Пушкина, а в «Дневника писателя» в ответе на критику Градовского, одного из столпов западничества, и либерализма, дал волю своей полемической энергии. В сущности, и спора-то не могло быть, настолько полярны были позиции Достоевского и Градовского. Достоевский это понимал, это сказал и отвечал Градовскому «единственно имея в виду других, которые нас рассудят, то есть читателей». Это было обращение к суду общества, к суду истории. И здесь, побуждаемый критикой и отстаивая свое право говорить о народе, Достоевский замечательно рассказал о своем мировоззренческом переломе. «Да, народ наш груб, хотя и далеко не весь, — писал Достоевский, — о, не весь, в этом я клянусь уже как свидетель, потому что я видел народ наш и знаю его, жил с ним довольно лет, ел с ним, спал с ним и сам «к злодеям причтен был», работал с ним настоящей мозольной работой, в то время, когда другие, «умывавшие руки в крови», либеральничая и подхихикивая, решали на лекциях и в отделах журнальных фельетонов, что народ наш «образа звериного и печати его». Не говорите же мне, что я не знаю народа! Я его знаю: от него я принял вновь в мою душу Христа, Которого узнал в родительском доме еще ребенком и Которого утратил было, когда преобразился в свою очередь в «европейского либерала». И вернувшись к Которому, следует продолжить, Достоевский, в силу природного макси-

мализма, пришел к крайности «народа-богоносца» и на этой идее построил свою политическую позицию.

В полемике с Градовским Достоевский не только защищался — он нападал. Так он больно уязвил Градовского, показав всю пустоту его, западника, либерала, воззрений. По словам Достоевского, Градовский написал, что Россия «не может справиться даже с такими несогласиями и противоречиями, с которыми Европа справилась давным давно». Достоевский понял это как утверждение, что Запад давно справился с общественным распадом и возмутился. «Это Европа-то справилась?» — ответил он и продолжал, прямо указав на то, о чем западники-либералы стыдливо умалчивали: «Грядет четвертое сословие, стучится, ломится в дверь и, если ему не отворят, сломает дверь... На компромисс, на уступочки не пойдут, подпорочками не спасете здания». «И вот пролетарий на улице», — писал Достоевский дальше. «Как вы думаете, будет он теперь по-прежнему терпеливо ждать, умирая с голоду? Это после политического-то социализма, после интернационалки, социальных конгрессов — Парижской коммуны? Нет, теперь уж не попрежнему будет: они бросятся на Европу и все старое рухнет навеки». Такое будущее Достоевский предсказал Западу. Что касается России, то, верный своей позиции, Достоевский тут же продолжал: «Волны разобьются лишь о наш берег, ибо тогда только, вьявь и воочию обнаружится перед всеми, до какой степени наш национальный организм особлив от европейского».

Таков Достоевский в «Дневнике писателя». Что же касается художественного творчества и прежде всего больших романов последнего периода, то они несравненно свободней от расхождения политического и социального. Это особенно приметно, может быть, потому, что в них, этих романах, сравнительно мало политических тем, тогда как они насквозь социальны. Само собой возникает предположение, что расхождение политического и социального восходит к тому, что

Достоевский говорил об « ошибках ума » и об « ошибках сердца ». К этой теме он пришел в связи с стремлением подняться над существующими разногласиями, даже такими существенными для русского общества, как распадение на западников и славянофилов. Призывом к объединению Достоевский закончил « Дневник писателя » в 76 году и начал его в 77 с утверждения, что « все споры и разъединения наши произошли от ошибок и отклонений ума, а не сердца, и в этом определении и заключается все существенное наших разъединений ». И тут же Достоевский разъяснил : « Ошибки и недоумения ума исчезают скорее и бесследнее, чем ошибки сердца, излечиваются же не столько от споров и разъяснений логических, сколько неотразимою логикой событий живой, действительной жизни, которые весьма часто « сами в себе заключают необходимый и правильный вывод и указывают прямую дорогу, если и не вдруг, не в самую минуту их появления, то в весьма быстрые сроки, иногда даже не дожидаясь следующих поколений. Не то с ошибками сердца. Ошибки сердца есть вещь страшно важная : это есть уже зараженный дух иногда даже во всей нации, несущий с собой весьма часто такую степень слепоты, которая не излечивается даже ни перед какими фактами, сколько бы они ни указывали на прямую дорогу ».

Социально-философские романы — романы последнего периода — и были глубочайшим проникновением в действительность и раскрытие работающих в ней сил. И замыслы их, и повествования, и характеры — их взаимосвязанное развитие — исходили от « неотразимой логики событий живой, действительной жизни », а не от требований тех или иных политических тенденций, хотя бы и были на начальной стадии работы ими подсказаны. Потому-то они несравненно свободней от « ошибок ума », чем публицистика. Да и в публицистике (не говоря уж о художественных произведениях, входящих в « Дневник писателя ») До-

стоевский не раз становился свободен от ошибок ума, свойственных « Дневнику » в целом.

Что же касается « ошибок сердца », Достоевский был начисто лишен их.

11/IV-80 г. в ответ на письмо Е. Ф. Юнге, в котором она, между прочим, говорила о мучительной ей двойственности, — Достоевский писал : « Это самая обыкновенная черта у людей... не совсем, впрочем, обыкновенных... Вот и поэтому Вы мне родная, потому что эта *раздвоенность* в вас точь-в-точь как и во мне и всю жизнь во мне была ». Достоевский писал о раздвоенности : « это большая мука, но в то же время и большое наслаждение. Это — сильное сознание, потребность самоотчета и присутствия в природе Вашей потребности нравственного долга к самому себе и к человечеству ». Психологическая раздвоенность глубоко отразилась в творчестве Достоевского и дала многое, вплоть до « двойников ». Это хорошо известно. А говорил ли Достоевский когда-нибудь о той двойственности, на почве которой возникало и с годами углублялось расхождение политической и социальной позиций ? Да и сознавал ли Достоевский это расхождение ? Как знать... Во всяком случае прямо об этом Достоевский, кажется, никогда не говорил. А между тем тут глубочайшее противоречие. Политическая реакционность — свидетельство неподвижности, даже оцепенения, решительного отвращения к каким бы то ни было переменам. Тогда как неприятие сложившихся форм социального бытия ведет к беспокойной жажде перемен, даже к прямому бунту.

Бунтарство было в самой натуре Достоевского. Даже политические реакционные воззрения являлись бунтом, но не против правительства, а против передовых слоев общества, либеральных, западнических. При этом его не смущало сближение с кругом Мещерского, где он встретился с Победоносцевым и сошелся с ним. « Если напишете мне хоть полсловечка, то сильно поддержите дух мой. Я и зимой к вам приезжал дух

лечить », — написал Достоевский в конце письма 19/V 79 г... А через год, 19/V-80 г., незадолго до выезда в Москву на пушкинские торжества, Достоевский писал Победоносцеву о своей речи : « Мою речь о Пушкине я приготовил, и как раз, в самом *крайнем* духе моих *(наших* то есть, осмелюсь так выразиться) убеждений ».

И этот друг Победоносцева, порой так нуждавшийся в его твердом слове, и в то же время бунтарь, ниспровергатель, человек, не знавший успокоения, в силу свойственной ему двойственности, всем существом был устремлен к органической целостности, к гармонии. Единство — такова была основная « мечта » этого новоявленного Дон-Кихота. « Объявлено было, наконец, что все недоумения между обеими партиями и все злые препирания между ними были доселе одним величайшим недоразумением », — сказал Достоевский в « Объяснительном слове », предшествовавшем в « Дневнике писателя », пушкинской речи. С той же мысли Достоевский кончил 76 г. и начал « Дневник писателя » в 77 г., тут же разъяснив раскол русского общества на западников и славянофилов, как вполне излечимые « ошибки ума ».

Как рассказал Достоевский, когда Дон-Кихот « излечился от своего помешательства и *поумнел*, возвратясь после второго своего похода, в котором он был побежден умным и здравомыслящим цирюльником Караско, отрицателем и сатириком, он тотчас же умер, тихо, с грустною улыбкою, утешая плачущего Санхо, любя весь мир великою силой любви, заключенной в святом сердце его, и понимая, однако, что ему уже нечего более в этом мире делать ». Иной была судьба Достоевского : всего за полгода до смерти ему был дан великий день торжества.

Произошло небывалое. Достоевский писал жене, Анне Григорьевне, 8 июня в 8 часов вечера после прочтения речи о Пушкине : « Нет, Аня, нет, никогда ты не можешь представить себе и вообразить того эффекта... какой произвела она (речь о Пушкине)... Прерыва-

ли решительно на каждой странице, а иногда на каждой фразе громом рукоплесканий. Я читал громко, с огнем. Все что я написал о Татьяне было принято с энтузиазмом. (Это великая победа нашей идеи над 25-летием заблуждений!). Когда же я провозгласил в конце о *всемерном единении* людей, то зала была как в истерике, когда я закончил — я не скажу тебе про рев, про вопль восторга : люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и *клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть вперед друг друга, а любить*. Порядок заседания нарушился : все ринулись ко мне на эстраду : Гранд-дамы, Студентки, Государственные Секретари, Студенты — все это обнимало цаловало меня... « Пророк ! Пророк ! » кричали в толпе. Тургенев... бросился меня обнимать со слезами. Анненков подбежал жать мою руку и цаловать меня в плечо. « Вы гений, вы более чем гений ! » говорили они мне оба. Аксаков (Иван) вбежал на трибуну и объявил публике, что речь моя — *есть не просто речь, а историческое событие* !... Я бросился спастись за кулисы, но туда вломились из залы все, а главное женщины. Цаловали мне руки, мучили меня. Прибежали студенты. Один из них, в слезах, упал передо мной в истерике на пол и лишился чувств. Полная, полнейшая победа !... Я ослабел и хотел было уехать, но меня удержали силой... Успели купить богатейший, в 2 аршина в диаметре лавровый венок и в конце заседания множество дам (более ста) ворвались на эстраду и увенчали меня при всей зале венком : « За русскую женщину, о которой вы столько сказали хорошего ! » Все плакали, опять энтузиазм... Это залоги будущего, залоги *всего*, если я даже умру... »

Венок был привезен Достоевскому в гостиницу. На вечере в тот же день Достоевский читал стихи Пушкина, в том числе дважды « Пророка ». Ночью Достоевский поехал к открытому за два дня до того памятнику Пушкина и положил к подножию поднесенный ему утром венок.

Рассказанное Достоевским подтверждается многими современными свидетельствами. Но торжество единения длилось недолго. 13/VI Достоевский писал С. А. Толстой, жене поэта Алексея Толстого, в ответ на ее (и Владимира Соловьева) поздравления: «Не беспокойтесь, скоро услышу «смех толпы холодной». Мне не простят в разных литературных закоулках и направлениях». Речь была напечатана в «Московских Ведомостях» 18 июня. А уже 25-го июня в газете «Голос» явилась статья Градовского, опровергавшая пушкинскую речь Достоевского. Это было началом. И пошло... пошло...

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

« Все позволено » 5
Одержимые 12
Хрустальный дворец 24
Фантастичность действительности 33
К истории « Преступления и наказания » . . . 43
Дон-Кихот 58

Imprimerie P.I.U.F., 3, rue du Sabot - Paris

Е.Я. ХАЗИН « ВСЕ ПОЗВОЛЕНО »

Замеченные опечатки

Стран.	Строка	Напечатано	Следует читать
7	5 св	« Преступение	« Преступление
7	1 сн	ту	та
8 абз	5 св	но ограничился	не ограничился
9 абз 2	7 сн	Достовским	Достоевским
9 абз 2	6 сн	оставясь	оставаясь
12	10 св	Замысл	Замысел
15	6 св	ни »	ник »
15	8 св	ранее творчество	раннее творчество
18 абз	1 св	Роскольниковым	Раскольниковым
23	3 св	Ранее же творчество	Раннее же твор....
26	1 св	ни того ни с сего	ни с того ни с сего
27	11 сн	Также-с позиции	Так же — с
27	4 сн	от распублик	от республик
28	11 св	мении заключалось	мени и заключа....
29 абз 1	2 св	Стопанчиково »	Степанчиково »
29 абз 2	4 св	и отдавшую II-ую	и отдавшей II-ую
29 аб 2	8-9 сн	она образована,	она образованна,
36 абз 6	3 св	Ножем ?	Ножом ?
36 абз 6	5 св	нескладный	нескладной
42	10 сн	панорами,	панорама,
45 абз	3 св	« Игороку »	« Игроку »
46	13 св	с ним Мармеладовым	с самим Мармела...
46	18 св	свдетельствует	свидетельствует
48	3 сн	Роскольников	Раскольников

См. на обороте

Стран.	Строка	Напечатано	Следует читать
49	3 сн	Бого-то	Бога-то
50	18 сн	у Мер-	у Мар-(меладова)
51	6 св	глибокое	глубокое
51	абз 1 5 сн	на следующий	на следующей
52	абз 1 6 сн	книжкой » поиски,	книжкой », поиски
52	3 сн	наказанием, когда	наказанием », когда
55	17 сн	по крайной мере	по крайней мере
56	6 св	пумный интерес	шумный интерес
57	6 св	самобуйством,	самоубийством,
62	5 св	Алешой,	Алешей,
63	17 сн	капитана Ури	кантона Ури
64	абз 1 2 св	в « Дневника	в « Дневнике
65	абз 1 3 сн	вьявь и воочию	въявь и воочию
69	6 св	всемерном единении	всемирном един...

Imprimerie P.I.U.F., 3, rue du Sabot - Paris